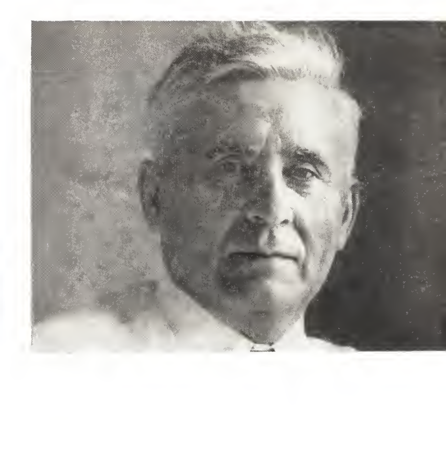


АНАТОЛИЙ КАЛИНИН

ЭХО ВОЙНЫ
▪
ВОЗВРАТА НЕТ



Постановлением Совета Министров РСФСР писателю Анатолию Вениаминовичу Калинину за повести «Эхо войны» и «Возврата нет» присуждена Государственная премия РСФСР имени М. Горького 1973 года.



АНАТОЛИЙ КАЛИНИН

ЭХО ВОЙНЫ

ВОЗВРАТА НЕТ

ПОВЕСТИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА — 1975

Р2
К17

Анатолий Вениаминович Калинин

ЭХО ВОЙНЫ. ВОЗВРАТА НЕТ

(Повести)

Редактор Т. М. Мугуев
Художник И. А. Литвишко
Худ. редактор Э. А. Розен
Техн. редактор Т. С. Маринина
Корректор Л. М. Логунова

Сдано в набор 25/VII-74 г. Подп. к печати 21/XI-74 г. Форм. бум. 84×108 1/32. Физ. п. л. 4,5. Уч.-изд. л. 8,27. Усл. п. л. 7,56. Изд. инд. ЛХ-743. А05818. Тираж 100.000 экз. Цена 30 коп. Бум. № 1.

Издательство «Советская Россия». Москва, проезд Сапунова, 13/15. Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25. Заказ 2405.

К $\frac{70302-145}{М-105(03)75}$ 101—75

ЭХО ВОЙНЫ

В неоспоримую истину о пользе телефона на квартире, да еще в условиях сельской местности, пора бы внести и поправку: только тогда, когда поблизости нет никаких учреждений власти — сельсовета, правления колхоза или хотя бы отделения совхоза. Иначе твое время уже не принадлежит тебе и твоя семья навсегда лишена покоя. Вскоре жди от жены ультиматума: или я, или этот зверь на стене, которому ничего не стоит зарычать в любое время суток.

В ночь-полночь или на самом сверхраннем рассвете весь дом может содрогнуться от стука. Вставай и открывай дверь человеку, который твердо считает, что в данную минуту на всем свете нет ничего важнее той нужды, которая погнала его в этот час к соседу — счастливому обладателю телефона. А так как соседями в небольшом хуторе являются все его жители, то и неотложных нужд, которые невозможно разрешить без помощи телефона, набирается на весь день. То у человека жене пришло время рожать, а доехать быстро на подводе до больницы по распутице, по раскисшей суглинистой дороге никак нельзя, и необходимо, чтобы врач приехал верхом или же приплыл на моторке по Дону из районной станицы в хутор. То два друга от мирной беседы за четвертью виноградного вина перешли к более активным действиям и один из них откусил другому палец — тут уже нужен не только врач, но и милиционер. А то еще старухе понадобилось позвонить в сельсовет, узнать, почему это ей принесли квитанцию за страховку дома и коровы на восемь рублей тридцать копеек, если в прошлом году она платила всего пять тридцать. У каждого человека свой срочный вопрос к райсобесу, к председателю колхоза, к прокурору, и Волчок, добросовестно отрабатывая хозяйский хлеб, по целым дням во дворе «гав, гав», калитка «скрип, скрип», дверь «хлоп, хлоп», и от порога к телефону дорожка следов, жена не успевает мыть пол, и красить его нужно каждый год. Или же придет кто-нибудь из тугоухих — в каждом хуторе есть

такой — и заведет на три часа объяснение с почтой: «Барышня!» — «А?», «Барышня!» — «А?» Тебе хорошо, ты ушел на работу, а жена так и живет в окружении этих «а» и «гав-гав» и вскоре тоже начинает рычать на тебя и на детей после двадцати лет безоблачной семейной жизни. В доме начинает носиться зловещее слово «развод».

Но и выхода из этого положения нет, разве что отказаться от преимуществ, вытекающих из обладания телефоном, а это уже нелегко. Соседке не посоветуешь перенести роды с двенадцати часов ночи на семь утра, и древнюю старушку не погонишь по пустячному делу за двадцать километров в сельсовет, а с хулиганством мы все обязаны бороться, да еще при наличии таких улик, как откушенный по самый корешок палец. И если ты не хочешь, чтобы против тебя вознегодовал весь хутор, ты не захлопнешь перед людьми дверь своего дома. Люди, если разобраться, ни при чем. Каждого из них привела в твой дом всего одна забота, и не их вина, а твоя беда, что в маленьком хуторе всего один телефон. Остается терпеть и справляться с семейными бурями своими средствами.

И когда однажды в воскресенье ни свет ни заря прибежала молодая соседка Ольга Табунщикова, я с безропотной покорностью взялся за вертушку сельского телефона. Я давно знал, что у Ольги болеет мать, и лишь по привычке поинтересовался:

— В больницу?

Остановившись на пороге, Ольга отрицательно мотнула головой. Вероятно, впопыхах она не успела покрыться. Обычно всегда такая спокойная, она на этот раз была явно чем-то взволнована. На щеках у нее цвели два ярких пятна, грудь под кофточкой бурно вздымалась и опускалась. Уж не загорелись ли, чего доброго, соседи? Но тут же, всего лишь глянув в окно, можно было убедиться, что над оцинкованной крышей их большого дома мирно вьется дымок из печной трубы.

— А куда же, Ольга?

Она вздохнула:

— В милицию!

— Куда-а?

Вот тогда-то она внезапно и распахнула резким движением свою кофточку, наброшенную, оказывается, прямо на голые плечи. Сверкнула молодая грудь со свежим, между двумя смуглыми холмами, кровоподтеком.

— Ольга, кто-о?

Запахивая кофточку и стыдясь своего унижения, она отвернулась, уткнувшись лбом в притолоку.

— Дмитри-ий!

— Не может быть!

Было чему удивляться. Всем было известно, как удачно десять лет назад вышла Табунщикова Ольга замуж за демобилизованного из рядов армии сержанта Дмитрия Кравцова и как на редкость хорошо, дружно жили они с тех пор, без обмана, ссор и драк в семье. Не сразу назовешь в хуторе другую столь же примерную семью. И вот теперь...

— Может быть, может быть!.. — плача от унижения и гордости, повторяла Ольга. Казалось, она хотела вкрутиться лбом в притолоку.— Он уже давно грозился. Думала — одни слова, и от людей было стыдно. А теперь уже не слова. Я его не пускала к пьяным дружкам, загородила дверь, а он меня кулаком. На меня еще никто руку не поднимал! Может, ему хоть суток пятнадцать дадут?

Еще одна новость. Дмитрий Кравцов всегда был из самых трезвых парень. Конечно, не без того, чтобы не погулять, когда в хуторских садах начинался сбор винограда и в каждом дворе появлялось свое вино, но никогда он не безобразничал, не валялся бесчувственно под плетнем и не переправлялся через расквашенную дорогу на четвереньках, как тот же Гришка Сидоров. Дмитрия и на работе ставили в пример как лучшего скотника, его фотография висела на почетной доске на центральной усадьбе совхоза.

— Но за что же он тебя?

— А ни за что! Я ему ничего плохого не делаю. Он у меня всегда обстиран, накормлен. Сама тоже приду из садов наморенная и спешу скорее приготовить ему лучший кусок. Никогда первая не съем. «Ты, говорит, со своей матерью все той же, одной породы». Пусть ему там хоть не пятнадцать, а десять, ну, пять суток дадут... Он же раньше никогда такой не был. За десять лет ни разу меня пальцем не тронул.

Спина ее, обтянутая серой кофтой, вздрагивала, голова все больше уходила в плечи. Горе ее было неподдельно велико. Если уж она согласна была сама отдать его в руки милиции, то, значит, и в самом деле у нее не осталось иного выхода. Его, своего Дмитрия, лучше которого для Ольги не было и не могло быть. Она так и поворачивала за ним голову, как подсолнух за солнцем, так и ела его глазами. Еще когда она только познакомилась с ним, счастливая, горделивая улыбка как поселилась у нее на лице, так уже и не сходила с него. А как они всегда вместе пели — и донские старые и новые,

советские песни, откапывая или закапывая лозы винограда в садах или же собирая урожай картошки на задонском огороде! Весь хутор к ним прислушивался.

Все в хуторе веселели, глядя на такую пару. И как-то не хотелось мириться с тем, что все это был обман. Во всяком случае, Ольга ничем не заслужила такого отношения со стороны Дмитрия.

Но, кажется, кое о чем можно было и догадаться из слов той же Ольги, которая уже повернулась от притолоки лицом в комнату и, перебирая на груди пуговицы кофточки, говорила более спокойным голосом:

— А при чем тут я со своей матерью? У нее своя жизнь, у меня своя. Пусть она сама за себя и отвечает. Но и выбросить ее из дома, как собаку, я не могу. Все-таки она мне мать, и с тех пор, как ее разбило, ей без моего ухода никак нельзя. Она, извините, под себя делает. А он кричит, что не желает больше ее капризы выполнять. «Я,— кричит,— тут с тобой и с твоей матерью своих погибших товарищей предаю!»

Ольга уже сидела на табурете, положив руки на колени и рассказывала все это ровным голосом; глаза у нее и щеки, мокрые от слез, высохли. И жаль слушать было ее, но и не только жаль. Обидно было узнать о Дмитрии Кравцове, что он, оказывается, не совсем такой, как о нем думали все, и что своими же руками он рушит свою хорошую семейную жизнь, свою любовь. Но к чувству обиды примешивалось и другое. С него, конечно, нельзя было снять его вины — никто и ничто не может оправдать человека, который на груди у своей любимой оставляет такие следы, и все же и это пьянство Дмитрия, и приступы его ярости, и слова, что он предает своих погибших фронтовых товарищей, как можно было понять, имели свои причины.

Табунщикова Варвара, мать Ольги, вернулась из тайги, похоронив там мужа, когда ей еще не было и сорока лет. Еще здоровая была женщина. Трудная жизнь в тайге не испортила ее красоты, и в хуторе сразу же нашлись добровольцы натоптать стежку к ее порогу, но она тут же их отвадила. Как это ей удалось, можно было лишь догадываться по тому, как однажды вечером вдруг пушечным выстрелом хлопнула у нее наружная дверь, прогремели, сбегая со ступенек, тяжелые шаги и чей-то бас с неподдельным изумлением возопил:

— Дура, так бы ты и сказала, что нельзя, а то сразу

со своей кулацкой кочергой! Это тебе не при старом режиме!

— А вот я сейчас тебе и при новом режиме! — пообещал голос Варвары Табунщиковой, после чего уже хлопнула дверца калитки.

К сожалению, соседи так и не успели установить, кому принадлежал мужской голос, а сама Варвара разговоров на эту тему не поддерживала. Из тайги вернулась молчаливой.

На деньги, оставленные ей мужем, который хорошо зарабатывал в тайге на порубке леса, выкупила отческий дом и стала жить в нем с тремя детьми: с двумя сыновьями и с дочкой. В колхоз не пошла — не станут же ее раскулачивать вторично за одно и то же. На слова, что с одного виноградного сада ей с такой бригадой не прожить, ответила:

— Как-не́будь...

И вскоре даже самые недоверчивые перестали сомневаться. Молодой хуторской колхоз в первые годы своего существования никак не мог войти в силу. Земля как разучилась родить, и виноградные сады, с которых раньше больше кормились правобережные низовские казаки, сгоряча — раз это бывшие кулацкие сады — порубили. А за Табунщиковым плетнем и в самый плохой год п а ш и́ н ы гнулись под тяжестью пухляка, буланого, ладанного. С хорошей донской ч а ш и — с одного куста — правобережные казаки и раньше собирали по десяти, по пятнадцати пудов винограда, а на восемнадцати сотках Табунщиковой усадьбы умещалось шестьдесят таких чаш. На всякую там смородину или жерделу место не занимали. Дурная ф р у к т а может расти на любой земле, а виноград больше всего уважает красный суглинок и, если хозяин не ленив, всегда отблагодарит его хорошей копейкой.

Конечно, с каждого куста тоже надо было заплатить налог, но если в подвале под домом в дубовых бочках круглый год не иссякает вино, то и налоговому агенту, когда он заявляется ревизовать кусты, шестьдесят старых чаш свободно могут показаться и за пятнадцать молодых, еще не р о д и м ы х. Оказывается, можно прожить и при том самом министре, который придумал этот корневой налог. Министр — в Москве, а финагент — в хуторе. Другие люди поспешили пустить под топор свои многолетние — отцовские и еще дедовские — сады, а у Табунщиковых жирующие лозы перехлестывали через забор, и к концу августа трудно было сосчитать, чего на них больше — трехпалых или пятипалых листьев, забрызганных бордосской пыльцой, или же черных и желтых гроздей, пронизанных солнцем. Каждая гроздь —

с килограмм, а с трех килограммов винограда можно надавить до двух литров вина. И то если отжимки из-под пресса выбрасывать под яр. Но у Табунщиковой Варвары вино из отжимок получалось не хуже, чем из сусла. В одно и то же время в трех бочках играет на сусле, а в трех — на отжимках, залитых сладимой водой. Но и после того, как отыграло вино, на дне бочек оставалась драгоценная гуща. Другие выливали ее под яр, а Варвара до двух раз засыпала сахаром, заливала кипятком, и снова до самых ноябрьских заморозков шибало из ее двора хмельным духом. Вот никогда и не вычерпывались до дна бочки. К новому году люди в хуторе все свое вино до капли выпьют, а у Варвары и на масляную есть. С Володина кургана взглянуть — стежки к ее двору, как спицы в колесе, сходятся со всего хутора. Кто идет с бутылкой, кто с четвертью, а кто и с двадцатилитровым баллоном, оплетенным красноталом. У кого какой запрос и какое в доме событие: свадьба, крестины или похороны.

В осеннее мокрое ненастье и в зимнюю метель, когда хутор плавает посреди бездорожья, как остров в половодье, неплохо и в обычный вечер посидеть в компании вокруг жбана с виноградным вином. Уже и в хуторском магазине сельпо не оставалось ни единой бутылки хмельного, а у Табунщиковых все стоит на дыбках черный кобель посреди двора и уже не лает, даже не хрипит, а только что-то свирепо и жалобно шепчет, встречая и провожая гостей. Всю осень, зиму и полвесны не прекращается в Табунщиковой, как говорили в хуторе, винополии торговля. И ночью Лыску нет покоя. То спрыгнет с лошади проезжающий мимо верховой, то приткнется под яром подвода, а то и лазит в репьях на склоне в поисках калитки тот, кого дома ждет никак не дождется бессонная жена. Варвара и сама на праздники привыкла спать, не раздеваясь, не снимая платка. Чуть звякнет на калитке обруч, она уже спускается с порожков с «летучей мышью» в руке.

Попробовали бы поименинничать или там справить поминки, если бы не знали, что у нее в подвале на этот случай всегда найдется и сибирьковое и пухляковское вино, а если хорошо попросить, то и ладанное! Так и стоит Лыско на дыбках. Кому праздники, а собаке всегда будни. И если бы только одни хуторские лязгали обручем на калитке! Вскоре и в других местах узнали, что есть на хуторе Вербном такой дом на яру, где можно поджиться хорошего вина и тогда, когда его уже по всему району выцедили из всех бочек. Теперь и не только по праздникам Варваре не стало покоя,

тем более что наезженная дорога бежала берегом Дона прямо под яром, соединяя одну окраину района с другой. Тому же председателю колхоза, который ехал на совещание в райцентр, или уполномоченному, который ехал из райцентра в колхоз, ничего не стоило подвернуть под яр, чтобы попутно перехватить кружку вина и лишний раз взглянуть на красивую, хотя и недоступную хозяйку этой винополии. Кружка виноградного вина никогда не может повредить, а всякая недоступность тоже имеет свой предел.

Так со временем появились у Варвары знакомые по всему району. Как вдове, матери троих детей, ей сочувствовали. Углем на складе в райпотребсоюзе она запасалась раньше всех, муку со стапичной мельницы ей привозили на машине в чувалах прямо домой, огород за Доном отводили, чуть только схлынет полая вода. И не там, где другие топором вырубали бурьян, а на илàх, где картошка урождалась с кулак. Старый дом Варвара ошелевала новыми досками, а двор и сад обнесла железной сеткой, сквозь которую видно, как сквозь стекло, но взять ничего нельзя.

...А Лыско все стоял на дыбках, а на столе рядом с кроватью Варвары так и не гасла с прикрученным фитилем «летучая мышь».

— Ты за детвой и совсем занехаяла себя,— жалели Варвару женщины.

И правда. Как похоронила она мужа, вернулась в хутор, так как-то сразу и состарилась если не телом, то душой. Взглядывала уже на себя и на свою прежнюю жизнь с ее молодыми утехами как бы издалька, со стороны, без всякого сожаления и даже с насмешкой, как на далекое и раз навсегда отрезанное баловство. Теперь вся ее жизнь была в детях, только ради детей — ради бурно подрастающих Павла и Жорки и ради еще несмышленой Ольги. Только бы их вырастить такими, чтобы не подмяла их жизнь, как подмяла она под себя их отца в тайге упавшим деревом! О себе не думала. И лето и зиму ходила в одном и том же коричневом, с зелеными полосками полушалке, закутываясь им наглухо, с ушами.

С того дня как вернулась в хутор, как будто остановилась в годах. Была одинаковая, не старая и не молодая, кожа на лице не морщилась, оставаясь глянцево-смуглой, как дубленой и только нос со временем как будто удлинялся, а небольшие карие глаза уходили под брови. Губы смыкались прямой складкой. Тогда только и разжимались они в скупой улыбке, когда, взглядывая на детей, убеждалась, что, кажется, не

обманывают они ее надежды. Особенно сыновья, потому что о дочери не только чужим людям, но и ей самой в пору было иногда спросить себя: а Табунщиковой ли она породы? Но спрашивать об этом было поздно, да и не к чему. Мужа давно не было в живых, и о том таежном начальнике, гепеушнике, который помог ей выехать с детьми из тайги, она с тех пор ничего не знала.

Вот о Павле с Жоркой каждый в хуторе, кто еще не забыл их отца, сразу скажет: вылитые. Вот где Табунщикова порода! В особенности Павел, первенец. Если брать одну наружность, то младший, Жорка, вроде бы и больше скидывался на отца: и такой же большой, медлительный в движениях, с ярко-синими, навыкате глазами, а Павел хоть и тоже синеглазый, но помельче костью, побыстрее. Но лишь одной матери, мысленно сличающей сыновей, и позволено было увидеть, кто из них больше унаследовал от отца, в ком его черты и вся ухватка не расплылись, а собрались и выступили все вместе. И нередко Варвара ловила себя на том, что она даже вздрогнет, когда Павел кособоко дернет шеей, что-нибудь скажет, совсем как отец, или же вдруг простегнет в его синем взгляде так хорошо знакомая ей жесточинка, как песчаная желтизна сквозь голубизну летнего Дона.

Но, может быть, больше всего радовалась Варвара, что унаследовал у отца не только наружность. Как, скажи, вырос при отце и уже к четырнадцати годам понимал свою мать с полуслова! Уже можно было доверить ему и ключи от подвала с бочками. Знал, какого покупателя как встретить и как проводить, кому можно наточить из бочек другака, а кому только натурального. Тому, кто уже набрался, хоть и третьяка нацеди, все равно не поймет. А для крепости можно и махорки насыпать. От нее с похмелья голова аж дюжее болит. Это Павел уже сам придумал с махоркой, то есть не совсем сам, а слыхал, как в станице Мелиховской один дед вот так же каплюжников дурил. Десять литров другака разбавлял пятью литрами кипяченой воды и настаивал на пачке махорки. С двух стаканов с ног валит. Жорка тот больше сам, как бы из бочки в корец наточить, а Павел — все в дом копейку. Недаром у него до седьмого класса, пока не бросил ходить в школу, всегда по математике были пятерки. Бросил, чтобы помогать матери. Она была почти совсем неграмотная, ее при расчетах и обмануть могли.

Люди бывают разные. Жорка бросил потому, что лодырь, а у Павла — другое дело.

К восемнадцати годам он уже сам и первый виноград отвозил на пароходах за полторы тысячи верст, в Саратов, и со всеми агентами сам дело имел — они уже называли его Павлом Андрианычем. Если надо было нарубить хороших сох и слег для сада, Павел к хуторскому леснику не стучался — тот шибко трезвый был, а брал в моторную лодку плетенку с вином и поднимался по Дону в другое лесничество. Оттуда и раз и другой привозил полную лодку опор. И не какой-нибудь вербы, которая гниет в земле, а дерева твердой породы.

С тех пор, как всю свою винополию мать сдала ему на руки, еще больше заклубился у них под яром народ. Лыско днем уже не становился на дыбки посреди двора, лаял только ночью. Тоже была Павлова дрессировка. А Жорку Лыско не боялся. Жорка напьется пьяный, сядет рядом с ним, обнимет за лохматую шею и жалуется ему, что Павел все прибрал к рукам. Павел тоже не прочь был выпить, но только в хорошей компании и разума не терял. Пить тоже надо умеючи, не так, как, например, та же Верка Сухарева, которая от мужа и от детей все тащит из дому. И сало кусками и зерно цебарками, а то как-то променяла Павлу за четверть другака совсем новые валенки.

Но иногда Павлу почему-то хотелось выпить и без всякой компании, одному, и в такие дни пил он много, по-страшному. Страшно было не то, что много пил, а что чем больше пил, тем становился трезвее. И глаза у него становились совсем голубые, как выстиранные. Жорку он в такие дни от себя отсылал, находил ему дело, а сам сядет против четверти с вином, посадит перед собой на табурет мать и требует, чтобы она рассказывала ему все про отца. Все-все рассказывала: и какие у них были сады, и как их раскулачивали в хуторе, и что отец говорил напоследок, когда его зашибло в тайге сосной. Слушает Павел, пьет и трезвеет. Иногда только скажет: «Так-так» — и легонечко побарабанит подушечками пальцев по крышке стола. Один раз он вдруг небрежно спросил у Варвары:

— А что это, маманя, по хутору брешут, будто наша Ольга вовсе и не Табунщикова, а чья-то другая. Будто того самого начальника, какой заезжал к нам в тайге.

Взглянула мать в эту минуту в глаза Павлу — и испугалась: были они уже не синие и даже не голубые, а белые. Варвара замахала руками:

— Что ты, Павлуша! Люди чего только не набрешут, а ты им верь.

— Да нет, маманя, это я так спросил,— устало отводя взгляд в сторону, усмехнулся Павел. И тут же откровенно признался: — Не люблю я Ольгу. Как вроде и правда она чужая.

Тут уже Варвара сурово прикрикнула на него:

— Наша она, наша! Ты, Павел, ничего такого даже не смей и подумать! Она твоя сестра. Ни-ни! Я тебе, как мать, этого не могу позволить.

— Я вас, маманя, завсегда слушаю. Нехай как хочет, так и живет,— согласился Павел.— Как вы говорите, так, стало быть, и есть.

Но хоть и заступалась она перед сыном за дочку, а сама тоже иногда сомневалась. В точности Варвара и сама ничего не знала, потому что этот гепеушник наведывался к ним домой в отсутствие Андриана. Андриан, кажется, об этом догадывался, но виду не подавал, зная, что Варвара никогда ничего не сделает без пользы для семьи, для дома. Нет, этот таежный начальник не приневоливал и не подкупал Варвару, он ее жалел и даже говорил, что, если бы не такая служба, не посмотрел бы, что она кулачка, взял бы ее к себе и с детьми — он был не женат. Он и свои полпайки ей отдавал потому, что жалел, а не потому, чтобы от нее своего добиться. Этого он бы добился и без пайки — мужчина был из всех и на тысячу километров в тайге начальник... Но что бы там ни было, а мучица и сахар у них в доме не переводились. Андриан помалкивал, зная, что все это идет не чьим-нибудь, а его же детям. Сам он, верно, никогда до всего этого не дотрагивался: «Мне, говорил, и моей пайки хватит». А потом его придавило сосной, и когда у Варвары по дороге домой, прямо в вагоне, родилась дочка, все, что было в прошлом, так и осталось где-то позади, в тайге, как и сама тайга. Некому было уже допытываться, чья у Варвары дочь, да и не перед кем теперь ей было отчитываться, тем более что она и себе не смогла бы точно ответить. Она и сама не знала, то есть знала, уверила себя, что раз она тогда была еще мужняя жена, то, значит, и Ольга должна считаться Андриановой дочкой. Хоть перед богом, хоть по закону.

Если раньше иногда как-то вдруг и засвербит сердце, что-то заскребется в самом дальнем его кутке, как мышь в амбаре, то со временем все это заглохло, старый базок

зарос, и все, что когда-то было, осталось в памяти, как сон, очень просто, что его вовсе и не было. Не всякому сну надо верить.

Так бы и оставалось, если бы не слова Павла. Варвара знала, кто ему мог надуть об этом в уши. Оказывается, если Андриан никогда не попрекнул ее там, в тайге, то своей сестре Анастасии он однажды намекнул в письме, что на базок к Варваре повадился один со шпалами.

После разговора с сыном Варвара невольно стала и сама больше присматриваться к дочери, подмечать за ней. Та беспокоилась под ее взглядом:

— Вы чего, мамапя, на меня так смотрите?

— А так просто,— отвечала Варвара.

Действительно, как чужая. Придет из школы, кинет пионерский галстук на спинку кровати и вдруг так и зароется лицом в подушку. Навзрыд кричит. Варвара спрашивает:

— Что с тобой, Ольга? Может, двойку схватила али кто из мальчишек обидел?

Вдруг сразу крутнется она, сядет на кровати, и в лицо матери:

— Никто там меня не обижает, не смейте так про нашу школу говорить! У нас в школе все хорошие — и ребята и учителя. Все-все!

— Так что же ты плачешь?

— Это вы, маманя, виноваты! А меня из-за вас по глазам бьют. Сегодня наша вожатая опять на сборе вспомнила, что вы торговлю вином открыли, а я с вами не веду работы. «У тебя, говорит, мать скоро весь район споит, а ты не стыдишься носить галстук». А какую я с вами должна вести работу, какую?

Плечики у Ольги тряслись, две русые косички с белыми бантиками так по ним и прыгали. Варвара сурово говорила:

— Завидуют люди, вот и говорят. Мы не ворованное вино продаем, а свое собственное. Кому какое дело. Мы за сад налог платим, так ты этой вожатой и скажи. Завидует она, что у нас полная чаша, а она все в отцовских сапогах щеголяет.— И совсем уже строго Варвара прикрикнула на дочку: — Перестань реветь, утрись! Иди у коровы почисть. Чужие люди твою мать позорят, а ты уши развесила. Если бы кто стал мою родную мать позорить, я бы знала, как ответить.

Иногда при этом хотелось Варваре схватить Ольгу за косы и хорошенько повозить головой по полу, чтобы она не смела даже повторять такие слова в лицо матери, но Ольга умела так взглянуть на нее своими серыми бешеными глазами, что

рука сама отдергивалась от нее. С сыновьями Варвара не церемонилась, хотя и ближе с ними была, а Ольгу ни разу пальцем не тронула. Может, еще и потому, что девочка и самая младшая. К сорок первому году, к началу войны, ей только исполнилось десять лет.

Павел к тому времени семь лет уже как женился и три года как проводил жену от себя за то, что она не сумела ужиться с его матерью. Но дитя, мальчика, жене не отдал.

Жорка говорил, что еще успеет на себя хомут надеть. Он еще пожить хочет.

Когда началась война, взяли на фронт по приказу о всеобщей мобилизации и Павла с Жоркой. Гулял весь хутор на проводах и у Табунщиковых, как гуляли поочередно в каждом дворе. Варвара вынесла из дома и поставила среди кустов винограда все столы и стулья, выкатила из погреба бочку вина и безотказно наливала каждому, кто к ней подходил. Вино было такое, что все ахнули: выдержанное, донской мускат. Такого если кто и надавливал со своих ладанных кустов, то по десять-двадцать литров, а тут — бочка. Варвара дополна наливала каждому в посуду, кто с чем приходил, и говорила: «Пейте на доброе здоровье, мне его теперь не для кого беречь».

Жорка накачался раньше всех, сел, обнял руками бочку и залился горючими слезами: «И на кого я тебя, моя разлюбезная, покидаю...»

Варвара и сама пила хорошо. В первый раз в хуторе видели, чтобы она, пьяная, плясала на столе, слышали, чтобы затянула вдруг неожиданно высоким звенящим голосом: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня», а когда поехали за Дон на лодках, бросилась в воду прямо в платье и дурным голосом кричала хуторскому фельдшеру, чтобы он ее спасал, а то она утопнет. И фельдшер охотно спасал ее, подныривая под нее, а после она, вся мокрая, ушла с ним за Доном в молодые вербочки, и он там легко получил от нее все, чего безуспешно добивался от нее, когда ей было еще не пятьдесят лет, а сорок. Но и в пятьдесят лет она еще оставалась нерастраченной, как тугое белое тесто.

Как будто подменили Варвару. Она разгулялась до того, что, когда опять приехали на лодках из-за Дона, хотела выкатить из подвала еще одну бочку, но тут ей заступил на земляных ступеньках дорогу Павел, который из всех оставался самым трезвым.

— С чего это вы, маманя, стали такой доброй? — спросил он с насмешливой укоризной.

В полумраке погреба она припала к нему, забилась головой на плече:

— Так не для них же, иродов, я вас без отца вырастила...

Павел с досадой перебил ее, отрывая ее руки от себя:

— Не спешите, маманя, голосить. А вино тут без нас получше прихороните. Еще пригодится, может быть...

И опять как сразу подменили Варвару, когда она вышла из подвала за своим старшим сыном и объявила уже не размягченным жалостливо-растерянным, а прежним жестковато-насмешливым голосом:

— А вино уже все попили, дорогие гостечки. Нету больше ни капли.

И фельдшеру, который опять было потянул ее за рукав, увлекая в темный угол сада, она вдруг так зазвездила локтем между глаз, что он, затанцевав на месте, как круженый баран, сразу вспомнил, как он когда-то уже считал ступеньки ее дома.

Рано утром Варвара, как и все другие хуторские женщины, проводила своих сыновей до станичной пристани и также, как все, долго шла потом берегом Дона за пароходом, надломленно махая рукой, пока он не скрылся из виду, как белый лебедь в облаке черного дыма. Но писем-треугольников с фронта Варвара с тех пор так и не получила ни одного. Другие дворы хуторская почтальонша Ульяша, хоть и не часто, не забывала посещать, а в Табунщиковом дворе так ни разу и не побывала. И, встречаясь с Варварой где-нибудь на улице или проходя с сумкой мимо ее двора, круглощекая Ульяша уже сама виновато спешила предупредить ее вопрос:

— Нету, тетка Варвара, пока нету. Но вы трошечки потерпите, они беспременно напишут.

Хуторские женщины жалели Варвару и, не сговариваясь, старались, чтобы ушей ее не коснулся тот слух, что эшелон, в котором ехали мобилизованные хуторские на фронт, попал ночью за Ростовом, на станции Матвеев Курган, под немецкую бомбежку и потом командиры так и недосчитались своих солдат. Кто успел, тот выпрыгнул из вагона, а кто не успел, того потом и не стали искать в кучах горелого железа и черной золы.

Ни писем-треугольников не заносила Ульяна к Варваре, ни тех казенных конвертов, после которых над двором тут же взметывался к небу женский вопль, сопровождаемый печаль-

ным хором новых сирот. Несколько раз Варвара сама ходила в станицу в райвоенкомат, там на ее вопросы отвечали уклончиво: «Запросим» и «Подождите». При этом глаза у вежливых командиров из райвоенкомата становились точь-в-точь такими же виноватыми, как у хуторской почтальонши Ульяши.

И Варвара стала ждать. Женщины удивлялись, как она умеет нести свой крест. Уж лучше бы дó разу получить с фронта этот черный конверт, удариться замертво о землю, изойти в плаче. Ни разу никто не увидел на лице у нее ни слезинки, как будто каменная была. Ульяша по-прежнему почти бегом проходила мимо ее двора и уже не кричала нарочито веселым голосом: «Подождите, тетка Варвара, еще напишут», а только молча опускала глаза и, сделав слабый приветственный жест, спешила дальше со своей сумкой. С каждым днем обвисала на ее плече сумка. Все больше среди солдатских писем-треугольников оказывалось в ней жестких конвертов с печатями, и все чаще столбом взметывался над хутором леденящий сердце крик, сопровождаемый звенящим сиротским хором.

Лишь одной Варваре неведомы были ни эта скорбь, которая выпадает из казенного конверта с осенним сухим шорохом, ни эта радость, которая приходит в дом вместе с письмом-треугольником от солдата, уведомляющего свое семейство с первых же слов, что он покуда живой-здоровый. Тем острее жалели Варвару женщины, потому что все-таки самое страшное — неизвестность.

И так продолжалось год, вплоть до того самого июльского дня, когда в хутор заявились немцы, и все вдруг разъяснилось. На другой день появились в хуторе, целые и невредимые, оба сына Варвары Табунщиковой — Павел с Жоркой.

И тогда люди всё вспомнили. Вспомнили и о том, как вскоре после ухода хуторских на фронт, после того как прошел слух, что на станции Матвеев Курган разбомбило эшелон, приезжала к Варваре из станицы Нижнекундрючинской ее двоюродная сестра, которую Варвара прежде не хотела и признавать за родню. Вспомнили и о том, что вслед за этим и сама Варвара зачастила в гости в Нижнекундрючинскую и каждый раз увозила туда сестре по два и по три мешка гостинцев — это при своей-то всем известной скупости. После этого сами собой вспомнились и разговоры, что в кундрючинских лесах скрываются дезертиры и что туда бросили на облаву районный истребительный отряд. Видели, как истребители везли оттуда на подводе под конвоем в район связанного по рукам и ногам дезертира, всего в шерсти́.

Обо всем этом в хуторе припомнили, когда увидели, что братья Табунщиковы явились домой с длинными черными бородами. Соседка, с которой они поздоровались через забор, не узнала их, и Павел весело белозубо засмеялся.

После этого никому уже не пришло в голову удивляться и тому, что сыновья Варвары дней через пять, оба чисто выбритые, сходили в станицу в немецкую комендатуру и вернулись оттуда в хутор с красными нарукавными повязками, на которых черной краской был нарисован круг с краткой надписью посредине: «Милиц».

На дворе лютовал февраль. Варвара Табунщикова стояла у себя дома у жарко горевшей печки, жарила блины. Она наливала из большой деревянной ложки жидкое тесто на сковороду и думала о том, что люди сами бывают виноваты в своих несчастьях. Если бы и она вырастила из своих Павла с Жоркой таких же сыновей, как другие, то, скорее всего, и они сейчас уже лежали бы оба где-нибудь под Москвой или под Ростовом в больших общих ямах, которые называют братскими могилами, и она не жарила бы им теперь блинцы. Запах от них расстилался по всему дому и вытягивался во двор. Пусть и слишком гордые соседи понюхают, если им охота, за это она денег с них не возьмет...

И так же, как весь хутор, она теперь уже подмела бы веником последню мучную пыль в закроме, а не справляла бы масленицу, как, бывало, справляли ее в старое время. В последний раз Павел привез на немецкой машине с мелиховской мельницы десять мешков пшеничной муки и побросал их через плетень — нате, маманя, не обижайтесь. А Жорка переносил их на себе в низы. Жорка, он еще поздоровее Павла, хотя, если по совести сказать, и глупее. Павел уже успел заслужить себе в полиции какой-то чин, вроде поближе к начальству, а Жорка все еще самый низший. Ленивый. Одной грудью кормила их, а разные. Вот и сейчас отсыпается в зале, храпит, в то время как Павел с утра как уехал, так и нет его. Беспокойный, как бывалоча, председатель колхоза Калюжный, который ни себе покоя не давал, ни людям: с трех часов утра всегда на ногах и сует нос в каждую дырку. Теперь он далеко, где-то за Волгой, а скорее всего, и сгнил где-нибудь сбоку дороги. Царство ему небесное, хотя он и драл горло самый первый: «Табунщиковых, Табунщиковых!» — когда в хуторе начали кулачить умных людей, которые умеют жить и наживать добро при любой власти.

Вполне можно жить и при этой. Всякая власть от бога, за исключением, понятно, Советской, которая все же послушала хуторских горлодеров, отобрала у Табунщиковых нажитую своим горбом молотилку, шесть пар быков и четыре пары лошадей, а самого хозяина загнала на вечное поселение в тайгу, где он и умер.

Умерла бы там и Варвара, если бы один человек из начальников гепеу не помог ей тогда найти обратную дорогу с детьми в свой хутор. Этот начальник был парень ничего, и Варвара тогда была еще совсем не старуха.

От всего этого теперь остались только смутные воспоминания, которые играют слабой улыбкой у Варвары на губах и на щеках, румянеющих от соседства с жаркой печкой. Скоро и этих воспоминаний не останется, все порастет бурьяном. Как бы там ни было, а если и были за нею в прошлом какие грехи, то опять же не ради самого греха, а ради детей. Детей, всех троих, она вырастила, и все сейчас при ней. А другие шибко грамотные матери по хутору или перечитывают похоронные, или же ждут не дождутся хоть какой-нибудь весточки, отрезанные от сыновей фронтом. Может, и навсегда.

Павел с Жоркой уже на своих ногах, и из Ольги уже выкохалась такая телка, что приходится ее одевать, как последнюю нищенку, и прятать от немецких солдат. Они не посчитаются ни с тем, что она еще малолетка, ни с тем, что оба брата ее служат в полиции.

Блинцы получаются желтые, ноздреватые. Так и шлепаются со сковороды на тарелку. И дух от них хороший. Пусть соседи понюхают, пусть. Вот только Шурка, семилетний внучонок Варвары, сын Павла, крутится рядом и так и слизывает их с тарелки. Чуть только бабка зазевается — он уже хвать. Свернет блинец в трубочку и заглатывает весь сразу. Как утка рыбу. И не подавится. Варвара подсторожив Шурку, шлепает его по руке разливной ложкой:

— И когда ты нажрешься!

— Ай-яй-яй! — трясет осушенной рукой Шурка и заходит с другого бока.

Ничего, пусть ест досыта. Варвара воюет с ним больше для порядка. Она знает, что украденный кусок всегда самый вкусный. Все равно растет на тарелке горка блинцов, будет ей чем накормить сыновей. Как раз поспела и свежая сметана. Хорошую корову Павел пригнал из племсовхоза. Симменталку.

За последнее время прибавилось у него дела. Часто и не

ночует дома. Ездит по другим хуторам и станицам верхом или на санках. Все никак не могут найти, кто убил помощника коменданта в станице.

Ничего, пусть справляет свою работу, а когда приедет вечером домой, мать накормит его блинцами... И снова любимый внучек зарабатывает от бабки по руке большой деревянной ложкой.

— Ой, бабуня, больно! — трясет он рукой, а другой успевает схватить блинец и глотает его прямо горячий.

Бабка качает головой и смеется.

А Жорка храпит так, будто у него в носу спрятано радио. Налакался шнапсу и спит. Теперь ему до утра хватит. На это да еще на баб он не ленив. Правда, никому от этого убытка нет, теперь весь хутор из одних солдаток и вдов, а Жорка — парень не из последних. Любая должна за честь посчитать. Если не брать Павла, можно сказать, самый красивый на хуторе мужчина и не какой-нибудь грубиян, а с подходом. Не насильничает, а совсем наоборот, дает освобождение от тяжелой работы тем, кто понимает этот подход. По взаимности. А нет — никто тебя не приневоливает, хочешь — иди на каменный карьер, хочешь — поезжай в Германию. Каждый находит себе то, что ищет. В свое время приходилось также и Варваре платить за хорошее отношение, не такая уж это дорогая плата. На губах у нее опять начинает играть улыбка воспоминаний.

За окном в соседнем дворе маячит голова соседки, а через плетень свесились две головы в теплых платках — ее дочки. Нюхают. Варвара и сама любит этот запах. Любит еще с тех пор, когда, бывало, на масленицу отъезжали от их двора двое-трое саней и с погремками мчались на перегонки по зимнему Дону. Она и сама любила кататься на масленицу с отцом и, оставаясь дома, любила прислушиваться к знакомому — ни с каким другим не спутаешь — звону погремков.

Жить можно и теперь. Это только к Советской власти нельзя было приспособиться ни с какого бока. Ну, а для тех, кто дюже гордый, закон не писан. Пускай их дети и заглядывают через забор на чужие блины.

Уже и на другой гарелке выросла целая горка. Уже и Шурка наелся и просто от жадности тянет ручонку. Скоро приедет Павел, разбудит Жорку, и она накормит сыновей. Есть у нее для них и кое-что поставить на стол к блинцам.

С детства она любит этот запах. И вообще любит, чтобы

в доме было духовито, тепло и чтобы стояли чувалы с мукой, а в погребе — кувшины с молоком и со сливками. Умному и война не мачеха.

Ну, а насчет этого гула, который появился недавно за Доном, Павел сказал, чтобы она зря не тревожилась. Это дело временное, германская армия — сила. Вон сколько ихней техники прошло через хутор и по верхней дороге в степи к Волге. А у русских все на веревочках.

Павел говорит, что это немцы выравнивают фронт. Ему лучше известно. Пусть скорее приезжает домой, пока еще не остыли материнские блины. Так и шлепаются со сковороды на тарелку. Шлеп, шлеп...

Занятая своими мыслями и сковородой, она не услышала, как у нее за спиной открылась дверь, и обернулась только тогда, когда внучонок Шурка уже в третий раз произнес с тревожной настойчивостью, дергая ее за юбку:

— Бабуня! Ну, бабуня же!

И только после этого, оборачиваясь, она заметила на пороге человека и, поджимая губы, тут же собралась обойтись с ним точно так же, как уже привыкла в подобных случаях обходиться с незваными гостями. Из-за того, что ее дом самый крайний, она не намерена накрывать на стол и стелить постель всякому, кто только ни проходит в это смутное время через хутор. Мало ли их теперь бродит по земле, всяких странников,— и тех, кто пробирается от хутора к хутору в поисках потерянных родственников, и вот таких, как этот, с давно не бритым лицом и голодными глазами,— не иначе, из плена. У всех, кто из плена, вот такие же замызганные стеганки или шинели. А щетиной, как желтой колючкой, оброс. Так и шьет глазюками из-под капелюхи: чем бы поживиться.

Как же, для него пекли-жарили! И, заслоняя от этих голодных, рыскающих глаз блины, она властно шевельнула большими бровями, чтобы тут же спровадить его подобру-поздорову, пока еще не проснулся ее сын, а то как бы не пришлось подробно отвечать в станице коменданту Герцу, откуда эта захлюстанная шинель.

Не расходуя лишних слов, она внушительно показала глазами пришельцу на открытую дверь зала, где спал Жорка, свесив с кровати руку с красной повязкой «Милиц», и вдруг окаменела. Вскользь окидывая взглядом пришельца, вдруг поняла, почему это внучонок Шурка, продолжая дергать ее за карман юбки, все еще гнусаво тянет встревоженным голосом:

— Бабуня! Ну, бабуня же!

Теперь и она увидела то, на что ее умный внук давно уже тщетно старался обратить ее внимание. Грязная, замызганная шинель на незваном госте сбоку, с правой стороны, вздулась бугром, и из-под ее борта выглядывал ствол автомата. Русского.

Разливная ложка, задрожав, накренилась у нее в руке, проливая заболтку мимо сковороды прямо на горячую плиту, и комната наполнилась синим смрадом.

Ноги как приросли к полу. Выставив из-под шинели автомат, русский солдат от двери прошел прямо в зал, где, ни о чем не подозревая, непробудно спал пьяный Жорка, свесив с кровати одну руку и одну ногу в сером шерстяном носке. Он и всегда был здоров поспать, а теперь после бутылки шнапса, которая тут же стояла у его изголовья на полу, его можно было разбудить только из пушки. Рассыпая по дому храп, ни того не видел он и не слышал, как русский разведчик хладнокровно снял со спинки кровати и отставил в угол его немецкий автомат с черной ручкой, а со стула взял и повесил себе на пояс две гранаты, ни того не видел и не слышал, как русский обшарил потом его карманы и, сунув руку ему под голову, под подушку, достал оттуда маленький пистолет. Варвара помнила, как Жорка, подбрасывая этот пистолет у себя на ладони, любовно называл его вальтером и говорил, что это подарок самого Герца.

И только после того как русский, выпув из-под своей шинели черный моток сплетенной из конского волоса веревки, проворно привязал к кровати его ноги, а потом стал привязывать грудь и руки, Жорка заворочался и открыл хмельные глаза. Мгновенно они стали трезвыми. Закричав, он рванулся на кровати, но было поздно. Тяжелое колено наступило ему на грудь, а вопль его в самом начале задавил аккуратный белый узелочек — кляп, забитый ему в рот так умело, что из Жоркиных глаз двумя ручьями хлынули на подушку слезы.

Услышав его вопль, Варвара рванулась к нему, но в эту минуту у нее за спиной снова открылась дверь, и в облаке пара ввалились еще гости. Еще трое русских без стука один за другим вошли со двора, заполнив комнату запахом морозного воздуха, ружейного масла и свежевыдубленной овчины. Двое из них, как и первый солдат, были в шинелях, а третий, самый рослый и, судя по его обличью, командир,— в новеньком желтом полушубке. Теперь уже Варвара окончательно поняла, что в хутор вошла русская разведка. А Павел

еще только сегодня утром смеялся над ее страхами, говоря, что это немцы выравнивают фронт. Выровняли.

— А мы, братушка, как услыхали крик, решили, что тебе тут плохо,— проходя в зал, сказал тот, кто был в полушубке. Останавливаясь у кровати, на которой лежал Жорка, он презрительно покачал валенком горлышко стоявшей на полу пустой бутылки.— Налакался шнапса, а нам теперь с тобой морока.

Жорка снизу вверх смотрел на сгрудившихся у его кровати разведчиков полными ужаса глазами. По щекам и по вискам его текли слезы. На белой подушке вокруг головы расплывалось мокрое пятно. Варвара слышала, как, вцепившись ей в юбку, трясется внучонок Шурка.

— Пьяное дерьмо,— сказал один из разведчиков, черный, как жук, с двумя кисточками усов.— Теперь, покуда не протрезвеет, от него путного слова не выжмешь.

Командир разведки уверенно усмехнулся:

— Он и сейчас уже почти трезвый. У нас еще есть время, и, пока из него будут последние пары шнапса выходить, мы тут кое-чем другим займемся.— Он повернулся к Варваре: — Я вижу, хозяйка, у тебя тут блины, а мы уже давно масленицу не справляли. Ты, конечно, их не для нас жарила, а для них, для своих сыночков. Для них?

Впервые с момента появления этих страшных гостей в ее доме Варвара разомкнула деревянные губы:

— Для них.

Разведчик с усиками мрачно заметил:

— Жалко, что и второго тут не оказалось. Он бы нам не помешал.

Улыбаясь, командир в полушубке успокоил его:

— Далеко не уйдет, он где-то здесь, близко. Правда, мамаша?

Варвара мучительно соображала, как ей теперь держаться. В зале лежал на кровати спеленатый веревками и полузадушенный кляпом Жорка, ее несчастный сын, и смотрел на нее сквозь раскрытую дверь умоляющими глазами, из которых катились слезы, и она должна все сделать так, чтобы не повредить ему ни единым словом. Во всяком случае, самое лучшее для нее теперь — продолжать заниматься тем самым делом, за которым застали ее эти незваные гости, а там видно будет. Может, что-нибудь и сумеет она придумать для Жорки, у которого сейчас здесь не было ни одной близкой

души, не считая Шурки. Какая от него может быть помощь? И, сделав вид, что не расслышала вопроса командира советской разведки, Варвара зачерпнула ложкой из макитры заболтку и плеснула на сковородку. На сковороде зашипело, запах сливочного масла и поджаренного сдобного теста защекотал ноздри разведчиков. Командир зашевелил мясистым носом.

— Вот это дело! — Сдергивая с головы и бросая на подоконник треух, он первый подвинул табурет к столу и, как будто был хозяином в доме, широко повел рукой, приглашая других разведчиков: — Братушка Алеша, и ты, Владимир, и ты, Семен, айда на полицайские блины! Хоть и не про нашу честь, да было бы что съесть. Мы люди не гордые, справим в этом поганом доме масленицу.

Разведчики не заставили себя приглашать, и вот уже они вчетвером сидели вокруг выдвинутого на середину комнаты стола, посредине которого возвышалась гора блинов на большой тарелке.

— А ты, хозяйка,— сказал командир,— теперь только успевай за нами жарить. Переходи на двухсменную работу. Жарь и между прочим рассказывай, как это ты умудрилась сразу двух таких сыновей у своей груди отогреть.

Не оборачиваясь и не разгибаясь от плиты, Варвара глухо ответила:

— Они теперь привыкли у матерей ума не спрашивать.

— Так, значит, ты у них должна была спросить.— Взгляд командира разведки упал на Шурку, выглядывающего из-за бабкиной юбки.— А для тебя, малец, у меня, кажется, что-то есть.— И, сунув руку в карман полушубка, он достал полплитки толстого пайкового шоколада.— Бери! Да ты не бойся, я только снаружи страшный. Как тебя зовут?

Не отвечая и не двигаясь с места, Шурка еще крепче вцепился в бабку, зарылся в складках ее юбки. Варвара подтолкнула его в спину:

— Возьми, Шурка, возьми.

Командир перевел помрачневший взгляд на горницу, где лежал прикрученный к кровати Жорка:

— Его?

— Другого,— кратко ответила Варвара.

— Все равно не завидую я тебе, Шурка, что у тебя оказался такой поганый папка... А ты что же, я вижу, братушка, как в гостях?

Тот, кого он называл братушкой, первый разведчик, взглядывая на окно, заметил:

— Надо бы одному из нас пойти во дворе постоять.

— Ешь. Они теперь пятки до самых Шахт смазали. Им теперь оглядываться некогда. Не до нас.

И после этого в комнате надолго воцарилось молчание, нарушаемое лишь побалтыванием блинов в чашке со сметаной. Едоки они были отборные. Жорка лежал в зале на кровати и смотрел на все это своими синими, совсем уже трезвыми глазами.

— Хозяйка, ты что там шепчешь своему внуку? — подозрительно осведомился у Варвары командир разведки.

— Я ему сказала, чтобы он еще принес из погреба кувшин со сметаной. Саня,— приказала она внуку,— сходи за сметаной, а потом пойдешь поиграешь с ребятами на улице.

Через минуту внук принес из погреба кувшин со сметаной, и Варвара, щедро наливая ее в чашку, ласково сказала ему:

— Ну, беги, беги, я же тебе разрешила! — И она легонько подтолкнула его к двери кулаком в спину.

Ее сын Жорка лежал, привязанный к койке веревками, с кляпом во рту, и смотрел, как русские разведчики, сидя вчетвером за столом, макали блинцы в чашку со сметаной.

— А сметана, хозяйка, у тебя, как довоенная,— похвалил командир разведки, окуная в чашку свернутый трубочкой блин и запрокидывая толстогубое лицо, чтобы ни одна капля сметаны не упала с блина мимо.— Небось, корову немцы оставили, как матери полицаев?

Не отвечая, она продолжала жарить для них блины, склонясь над плитою. Шлеп, шлеп — падали блинцы на тарелки. И тот же сладкий запах щекотал ноздри, но уже испорченный запахом смрада. Не разгибая от печки спины, она жарила блины и все же не успевала восполнять их убыль на тарелке.

Тогда из-под кухонного стола она достала вторую сковороду и стала разливать тесто сразу на обе.

— Вот это механизация! — с восхищением сказал один из разведчиков, с лицом веснушчатым и круглым, как подсолнух. И по обличью, видно, из трактористов.

И сметаны она подливала им из кувшина еще три раза. А ее рóдный сын лежал и, обливаясь горючими слезами, смотрел. Пусть глотают, пусть... Пока они не нажрутся досыта, они не займутся никаким другим делом. А Шурка еще только добегает до нижнего хутора. Теперь он как раз перемахнул балку. А там ему еще надо бечь на горку до школы.

Но как бы ни показались разведчикам вкусными эти домашние блины, больше, чем можно было съесть, они не могли съесть. По их сытым глазам и по ленивым движениям Варвара видела, что они уже стали наедаться. Даже круглолицый тракторист уже начал побалтывать в чашке блином и не сразу заглатывал его целиком, а, откусывая по кусочку, двигал челюстями, как жерновами. А самый младший из четверых разведчиков — тот, что появился в доме у Варвары первым, и вообще уже отвалился от стола, нашел на подоконнике безопасную немецкую бритву Павла и, намыливая в чашечке щеточку на обмылке, стал бриться, стоя перед трюмо.

И тогда Варвара полезла в кухонный стол, налила из литровой банки в чистую тарелку меду и поставила его перед ними. Мед был майский и еще не засахаренный.

— Вот это я завсегда уважал,— сказал круглолицый тракторист.

И работа опять пошла у них быстрее.

— Не для нас, видно, припасен,— заметил командир.— Попробуй, братушка, и ты с медом,— предложил он тому, который брился, стоя перед трюмо.

Хлопья белой пены с желтой, как придорожная колючка, щетиной падали с его лица на пол и на кирзовые сапоги.

— Ты же знаешь, что я его и дома никогда не любил,— ответил братушка.

— Так то же дома.

— И вообще я уже под завязку.

— Ну, как знаешь...

Еще бы, для них припасла она этот мед! Когда колхоз, эвакуируясь из хутора, впопыхах бросил за Доном пасеку, она сама съездила туда на лодке с тачкой, сама накачала там из ульев мед и привезла на тачке два пятидесятилитровых бидона. Но пусть, пусть едят! Теперь Шурка уже, должно быть, успел добежать до своего отца — до Павла. Деревянной ложкой она разливала по сковородкам тесто и слушала, как они за блинами обсуждают между собой, как им поступить с другим ее сыном, который лежал на кровати, прикрученный веревками, с кляпом во рту.

Уже и в меде они лениво побалтывали блинами. Первым отчалил от чашки их командир и, отодвигаясь от стола со стулом, закинув ногу на ногу, закурил папиросу. За ним тот, что с усиками, сперва отпустил дырки на три ремень, а потом прислонился спиной к стене, и глаза его, как два черных жучка, дремотно спрятались в веках. И только ску-

ластому, с лицом, как подсолнух, все было мало. Уже и деревянная ложка Варвары скребла по дну макитры, дочерпывая остатки жижи, а он все приговаривал:

— Жарь, хозяйка, жарь! Люблю полицайские блины.

Она не выдержала:

— Ты бы хучь дитю оставил.

Он сразу перестал есть, прихлопнув рот ладонью, и круглое лицо его вдруг стало по-ребячьи виноватым. Он смущенно крякнул:

— Чего же ты, дура, раньше мне не сказала!

Тогда она испугалась: а вдруг он и вправду перестанет есть, а это совсем не входило в ее расчеты. Вон и командир уже докуривает свою папиросу и, покачивая ногой, все чаще прицеливается взглядом к Жорке.

— Да нет, тут еще много. Ешь, ешь, я еще заболтаю,— поспешила Варвара успокоить круглолицего.

И черт ее дернул за язык. Не могла до конца стерпеть, видя, как он отправляет к себе в рот один блин за другим, как будто он пришел в гости к своей родной теще.

— Нет, уж, хватит,— сказал он, положив на край стола большие руки. И выразительно подмигнул ей карим глазом: — Вот если бы теперь у тебя и кое-что другое нашлось!..

И тут же глаза у него, округляясь, сразу сделались изумленно-веселыми, увидев, как она с мгновенной готовностью пошарила рукой в простенке у печи и метнула оттуда на стол целую четверть красного виноградного вина. Она выкопала ее сегодня в углу сада по случаю масленицы и спрятала от Жорки до прихода Павла — иначе эта четверть была бы уже порожней.

Круглолицый так и ахнул:

— Вот это да! Свое?

Она не без гордости подтвердила:

— Свое.

С недоверчивым восхищением он, как ребенка, пестовал четверть в руках, прищурив глаз, смотрел сквозь багровое, как вечерняя заря над Доном, вино на свет и даже понюхал горлышко, пошевеливая ноздрями. И вдруг скомандовал Варваре таким громовым голосом, что черноусый вздрогнул и проснулся, вылупив глазки.

— Стаканы!

Четыре стакана стояли уже на столе. Но только круглолицый взялся за деревянную затычку, которой была закупорена четверть, как другая большая рука легла на его руку.

— Сейчас не время. Потом. После,— сказал командир разведки.

— С собой, товарищ лейтенант, нам ее несподручно будет нести,— жалобно сказал круглолицый.

— Ничего, разольем по фляжкам.

— Да тут, товарищ лейтенант, его и всего по три стакана на брата.

— Я, кажется, уже сказал, что сейчас не время.

И командир разведки поднялся со стула, оглаживая ремень пальцем. У Варвары деревянная ложка выскользнула из руки и шлепнулась на дно макитры. Как бы ни старалась она отдалить эту минуту, она должна была наступить. Командир докурил свою папиросу. Круглолицый наелся блинов. Черный с усиками успел вздремнуть и уже проснулся. Добрился и братушка Павловой бритвой. Стоя у трюмо и по очереди надувая щеки, он слизывал с них лезвием последние щетинки. Наступило Жоркино время.

Подойдя к нему, русский командир снова дотронулся носком валенка до пустой бутылки из-под шнапса:

— Так что же теперь нам с ним делать?.. По данным Смерша, самый палач — его братеня.

Тот, что с усиками, тоже остановился у изголовья Жорки.

— Эх, жаль, не застали его! Он как раз па шахте Красина и лютовал. Живыми людей в ствол сбрасывал.

Круглолицый вставил из-за его плеча:

— Все равно и этот — полицайская морда.

— И с собой нам его не донести,— задумчиво рассуждал командир разведки.

Они сгрудились вокруг Жорки и говорили о нем так, как будто это его совсем уже не касалось:

— Здоровенный кабан!

— На центнер, а то и больше потянет.

— Что ж, видно, иного выхода нет...— заключил командир разведки.

Тот, который стоял, у трюмо, повернул к нему докрасна выбритое, совсем юное лицо и быстро сказал:

— Нет, этого нельзя делать.

— Что же ты, братушка, предлагаешь? — насмешливо спросил его командир.

— Взять его с собой, а там, в Смерше, разберутся,— не совсем уверенно ответил братушка.

При ней они деловито обсуждали, как будет лучше поступить с ее сыном: теперь же, на месте, его убить или же доставить в какой-то Смерш, где его, конечно, тоже должны будут предать смерти, и она не в состоянии была его оборонить. Его, свою родную кровинку! Кто бы ее послушал! А он, лежа на кровати с кляпом во рту, слышал весь этот разговор от слова до слова и водил по сторонам выпученными глазами. И когда взгляд его останавливался на матери, такая отчаянная мольба кричала из его глаз, что у нее на части рвалось сердце.

Нет, она не может бросить его без всякой защиты. Это ее материнское дело, кого из двух сыновей она больше любит и кого в глубине души считает больше удавшимся, похожим на покойного отца, а сейчас в ее помощи нуждается он один, младшенький. И она поможет ему, поможет. Пусть они не думают, что она уже старая женщина, совсем бессильная что-либо сделать.

Из окна ей видна была двугорбая хуторская улица, перерезанная между верхней и нижней частями хутора глубокой Исаевской балкой. Едва накатанная зимняя дорога, переваливая через один бугор, терялась в балке и взбегала на другой. И сколько ни напрягала Варвара зрение, ни единой души, ни какой-нибудь движущейся точки не увидела она теперь на бугре и на дороге. Даже хуторские собаки не перебегали ее — их давно уже перестреляли немецкие солдаты.

И пока ни самого малейшего подобия жужжания не появлялось оттуда, с той стороны, которое обязательно должно было появиться, если Шурка застал на том хуторе своего отца Павла.

Должен был застать, потому что Павел уехал туда с утра на школьный двор, где стояли немецкие солдаты с машинами, и приказал ей, чтобы она к вечеру нажарила блинов и откопала в саду четверть с вином, ту самую, которую она поспешила выставить разведчикам на стол, надеясь еще оттянуть время. Без пользы. Целая четверть хорошего вина пропала даром. И теперь она напряженно прислушивалась к тому, еще не слышному звуку, что непременно должен был появиться из-за балки, стараясь не пропустить и ни единого слова из разговора разведчиков у Жоркиной кровати.

— И на бара́на его не поднять.

— Разъелся на фашистских харчах.

— А чего это, братцы, от него как дохлым воняет?

Черный с усиками наклонился над Жоркой, к чему-то

присматриваясь, и вдруг резко отшатнулся, зажимая пальцами ноздри:

— Да из него вся начинка полезла.

И, брезгливо отступая от Жорки, все сразу ожесточились.

— Прямо сволочуга, на постели наделал!

— Боится умирать, пьяная морда!

— А тот, кто слишком добрый, пусть сам его в штаб и доставляет.

Нет, Жорка давно уже был таким трезвым, каким он еще никогда не был в своей жизни. Мать это хорошо видела по его глазам, из которых катились слезы. А то, что с ним сейчас случилось и что привело их всех в ярость, для нее не было в диковину. С ним и прежде, когда он напивался до потери памяти, это приключалось. Случалось и в постели. Сейчас она хорошо видела, что совсем от другого он потерял рассудок и память.

— Ну, тогда ты, Владимир, как-нибудь его без шума,— с брезгливой отмашкой сказал черноусому командир разведки и отошел от Жоркиной кровати.

И в эту же секунду Варвара услышала отдаленное нарастающее жужжание и увидела, как показался из балки плоский лоб большой машины с брезентовым верхом, переваливая через гребень.

Сейчас и **они** должны будут услышать и увидеть. Решая судьбу Жорки, русские разведчики стояли к окошку спиной, но сейчас они обязательно должны будут услышать. Варвара подняла за краешки макитру с остатками заболтки и, разжимая пальцы, уронила ее на пол. На грохот все они так сразу и повернулись к ней, а командир сурово прикрикнул:

— Ты что это, хозяйка, там дуришь?!

— Ах ты, горюшко! — по-женски запричитала она, склоняясь над черепками, заляпанными заболткой для блинов. И тут же она услышала, как машина мягко подкатила за стеной дома и остановилась на улице. Каблуки дробно застучали о мерзлую землю.

Круглолицый, как на пружине оборачиваясь к окну, первый закричал гремящим шепотом, по-бабьи приседая и положив руки на колени:

— Немцы!

В окне на улице уже мелькали серо-зеленого цвета шинели. Немецкие солдаты окружали дом.

Командир разведки лишь коротко глянул туда и бросился

2 Заказ 2405

к другому окну, которое выходило к виноградным колхозным садам, вышибая плечом раму и выхватывая из кармана гранату.

— За мной!

Со звоном посыпались стекла. За командиром попрыгали в окно и два других разведчика — с усиками и круглолицый. И только один братушка еще задержался в доме. Вскидывая автомат, он крутнулся на каблуках к Жорке, но у него на пути выросла Варвара, загородив дверь на другую половину дома. Надо было стрелять и в нее, и на какую-то долю секунды он затоптался на месте. Во дворе разорвалась граната. В окно заглянуло лицо командира разведки.

— Братушка, скорей! — крикнул он исступленным голосом и тут же исчез.

— Отрезайте их от садов, отрезайте от садов! — донесся до Варвары яростный голос Павла.

Гулко, короткими очередями застучал пулемет.

И тогда братушка обратно крутнулся на каблуках и, развевая полами шинели, тоже выпрыгнул в то окно, которое выходило во двор.

Варвара склонилась над Жоркой, развязывая веревки.

— Да режьте вы их, маманя, ножом, режьте ножом! — рыдающим голосом кричал Жорка.

Веревки были совсем новые и еще могли пригодиться в хозяйстве. Но узлы были завязаны умело, и Жорка стал по-страшному ругать ее, свою мать, подпрыгивая всем телом вместе с кроватью и крича ей в лицо, что она, старая сука, не расстанется с дерьмом и перед смертью. И едва лишь она, так и не сумев развязать узлы, перерезала их остро отточенным лезвием кухонного ножа, как он тоже ринулся в окно вслед за последним разведчиком в чем был — без шапки и разутый, в одних шерстяных серых носках.

Услышав, что выстрелы удаляются к садам, Варвара вышла во двор. Прямо посреди двора разрывом гранаты снег был перемешан с комьями мерзлой земли, а с побеленной известью летницы как будто кто-то шкуру содрал, она бессовестно, до самого верха оголилась. Из виноградных колхозных садов, удаляясь к станице, доносились крики немецких солдат: «Фойер!» и «Хальт!» и навзрыд плачущий Жоркин голос:

— Стреляй, Паша, а то уйдет! Да стреляй же!..

Один и другой раз стукнули выстрелы. После второго

выстрела кто-то удивленно закричал и словно бы устыдился.

Над хутором стыло февральское белое солнце.

Варвара решила заглянуть в сарай, беспокоясь, как бы какая-нибудь дурная пуля или осколок не пошкодили корову. Нет, она стояла на своем месте, у яслей, хрустя сеном. Варвара вздрогнула. Из теплой, пахнущей луговой травой темноты сарая она услышала горячий шепот:

— Мамаша, скиньте на землю лестницу и молчите про меня. У меня тоже есть мать. Скорее скиньте, мамаша, лестницу и уходите отсюда.

Так она и знала — четвертый разведчик не должен был уйти далеко, его отрезали от садов. Тот самый, который привязывал Жорку к кровати и забивал ему тряпками рот, а потом спорил со своим братом, что нельзя его убивать здесь. Она сразу же увидела, как только вошла в сарай, что лестница была не на месте и корова чего-то беспокоилась, вздрагивала ушами.

— Мамаша, скорее, они уже идут,— тревожно шептал разведчик.

Теперь он лежит там, на верху, на сене, как на перине, и просит, а ее сын из-за этого кляпа не мог даже подать голоса, и только ворочал перед смертью глазами. Корова, нагибая низко голову, выставляла рога в тот угол, откуда слышался шепот.

— И жена у меня с малым дитем,— шептал разведчик.— Не выдавайте меня!

Варвара положила руку корове между рогов, погладила белую метку:

— Успокойся, Зорька.

Снаружи послышались голоса, шаги. Варвара быстро положила лесенку под сено, на место, и вышла из сарая. Вернулись из садов ее сыновья, громко сокрушаясь, что русским разведчикам удалось уйти. А все этот рыжий немец, который полчаса заводил машину. Только одного Павлу и удалось срезать из карабина на роднике. Только занес ногу перешагнуть через родник — и тут Павел его с колена. А командиру разведки еще с одним удалось отбиться гранатами и уйти по-за кустами. Здоровущий и ломится прямо по кустам, как медведь. Немецкие солдаты с обером погнались за ними дальше к станице, а Павел с Жоркой вернулись, потому что где-то здесь должен быть и четвертый разведчик. Жорка хорошо помнил, что их было четверо, и теперь говорил брату плачущим голосом:

— С четырех сторон стола сидели и жрали блины, а потом

один уже наелся, встал и стал бриться твоей бритвой. Он никуда не мог деться, потому что он последний в окно сигал.

— А может, это тебе от страха почудился четвертый? — посмеиваясь, сомневался Павел.— Ты же пьяный был.

— Какой там, братушка, пьяный! И ты бы на моем месте протрезвел. Вон и маманя может подтвердить, она их блинцами угощала. Только нам его, братушка, непременно живьем нужно взять. Я на него на бритого хочу поглядеть. Маманя, вы же должны были видеть, куда он мог побечь.

Нижняя челюсть у Жорки совсем отваливалась, и лицо было желтое, как лимон, с пустыми глазами, как у пришельца с того света. Так оно почти и было: уже побывал он в гостях у смерти.

— Вы, маманя, должны были видеть, куда он мог скрыться,— допытывался он у матери.

— Нам только одного и нужно на развод,— пояснил Павел.

Соседка видела из своего окна, как они, разговаривая, топтались на снегу между домом и сараем. Отказываясь поверить своим глазам, соседка вдруг увидела и то, как Варвара, оглянувшись по сторонам, молча указала пальцем через плечо на зияющую темную дверь сарая.

Они хотели взять этого разведчика живым и крикнули ему, чтобы он выходил из сарая, но он им не дался. У него был автомат, и он, расчетливо стреляя, не подпускал их к двери сарая, а Павел с Жоркой опасались стрелять в сарай потому, что там стояла корова. Варвара бегала вокруг сыновей и, хватая их за руки, напоминала, что там же Зорька. Разъяренный Павел один раз даже саданул мать прикладом карабина в грудь, но она все же успела ухватиться за ремень карабина и отвела выстрел в сторону.

И так продолжалось до тех пор, пока не вернулись из садов после безрезультатной погони за остальными разведчиками немецкие солдаты во главе с обером и не положили этому конец. Правда, вначале обер тоже крикнул советскому разведчику, чтобы тот сдавался, но после того, как в ответ послышалась из сарая отборная русская ругань вперемешку с немецкой и потом из двери прогремели выстрелы, обер приказал обстрелять сарай зажигательными пулями. Сухая, как порох, чакановая крыша сарая тут же и вспыхнула, как костер. Над хутором поднялся столб пламени, и вскоре из

заснеженного двора Табунщиковых побежал на улицу веселый ручей.

Расстреливая последние патроны, разведчик выбежал из сарая, еще надеясь, должно быть, прорваться к садам, и не сумел. Павел в упор сразил его выстрелом из карабина, а Жорка, уже после того, как разведчик упал, еще долго стрелял в него, мертвого, из пистолета и топтал его ногами в серых шерстяных носках, стараясь наступить на его лицо, аккуратно, тщательно побритое перед смертью...

Но корову Варваре все же удалось вывести из огня. Вырвавшись из рук сыновей, Варвара нырнула в сарай, прямо в бушующее темное пламя, и вывела корову за налыгач как раз перед тем, как рухнула кровля. Тут же сыновья повалили Варвару и стали катать ее по снегу, гася на ней одежду, а немецкие солдаты во главе с обером смотрели на эту картину и, взявшись за бока, хохотали так, что им вторило эхо в зимнем лесу за Доном.

Через полчаса все они сидели за столом в доме, и Варвара угощала их горячими блинами прямо со сковороды, так же, как она угощала до этого русских разведчиков.

Советские войска, окружив и оставив у себя в тылу 6-ю армию Паулюса, вышли к Дону и наступали по обоим его берегам вниз, к Ростову. Хутор Вербный брали с Задонья, с низменной стороны. Перед наступлением личному составу выдали новенькие желтоватые полушубки, и, когда атакующие цепи залегали под пулеметным немецким огнем на голубовато-белом снежном займище, жителям правобережных хуторов и станиц представлялось, что это вдруг желтые тюльпаны зацвели на задонском лугу в феврале.

Несмотря на жестокий пулеметный огонь с правобережных бугров, с ходу стали форсировать Дон. Впереди всех бежал через Дон по льду рослый лейтенант в белом маскировочном халате сверху полушубка, тот самый командир разведки, которому за три дня до этого едва удалось уйти из Вербного от смерти. На серую армейскую ушанку лейтенант нахлобучил белый капюшон, однако на чистой белизне молодого февральского снега маскировочный халат все равно выглядел грязным пятном, и, вероятно, только тем, что немецкие пулеметчики нервничали, можно было объяснить, что им так и не удалось скосить лейтенанта, хотя он почти совсем не остерегался. Перебегая через Дон, он всего лишь один раз и прилег на бок и еще раз припал на колено, об-

стреливая беглым огнем из ручного пулемета хутор, а то все время бежал в полный рост, изредка оглядываясь и махая рукой бойцам, которые бежали следом. Они далеко отстали от него и потому, что не хотели по-глупому, по безрассудству умирать на этой неласковой ледяной постели, и потому, что вообще не смогли бы угнаться за своим громадного роста командиром, за его размашистыми шагами. Что ни шаг, то сажень. Казалось, он прыжками несется через Дон.

Лейтенант спешил поскорее ворваться в хутор, потому что у него где-то еще оставалась надежда... Своими глазами он видел, что круглолицего, как подсолнух, Семена Гончарова настигла в садах пуля, и, таким образом, из группы разведчиков теперь оставался один брат, братушка Алексей, о судьбе которого ничего не известно. То ли схватили его немцы, то ли успел он уйти от них каким-нибудь другим путем и теперь где-нибудь затаился, пережидает. Сколько раз бывало уже во время наступления в других местах, что жители припрятывали попавших в беду разведчиков, и те опять встречались со своими товарищами и, выпив с ними по этому случаю трофейного шнапса, продолжали воевать дальше. Если так удавалось уходить от смерти другим разведчикам, то почему же теперь не должно повезти его братушке Алеше. Чем он хуже других. Если бы с ним что случилось, то что будет, что только будет с их матерью, старой учительницей, которая теперь ждет их обоих, прислушиваясь к орудийному гулу, в оккупированном немцами Азове!

Не таясь, во весь рост лейтенант несся через Дон, махая рукой своим бойцам, и ни одна пуля так и не приласкалась к нему на всем пути. Первым он ворвался и в хутор, изредка припадая на колено, чтобы послать из ручного пулемета очередь вдогонку убегавшим вверх по склону в степь серо-зеленым шинелям.

Но тут, на окраине хутора, на стыке его с колхозными виноградными садами, ему показали свежий холм земли, и он сразу все понял... Братья Табунщиковы, выволочив его братушку уже мертвого со двора в зимние сады, так изрубили его там полицайскими шашками и втолкли в землю, что потом нечего было хоронить. Люди сгребли в кучку то, что осталось от него на окровавленном снегу, обложили комьями мерзлой земли, а сверху присыпали снегом и облили водой из родникового колодца в садах. Могила, обледенев, как будто оделась кольчугой.

Теперь не одни только женщины плакали, глядя, как могучего телосложения лейтенант, обхватив руками голову,

молча качался у могилы, проклиная и себя за гибель брата, и врагов за их неслыханную жестокость, и больше всего ту, на которой, как об этом уже узнали разведчики от местных жителей, лежала главная вина, что он потерял брата. От бойцов же разведроты хуторские жители узнали, что это у лейтенанта был единственный брат и что с первых дней войны они неразлучно были на фронте. И вот теперь, обхватив непокрытую голову руками, лейтенант беззвучно качался над его обледенелой могилой, голубовато сверкающей под февральским солнцем.

Его заставил очнуться негустой залп салюта, расколовшего морозную тишину над садами, над Доном. Снег посыпался с ветвей придонских верб. Лейтенант поднял голову с заиндевелыми, лохматыми глазами и, сутулый, длиннорукий, пошел прямо к дому Табунщиковых, незряче нащупывая на полушубке рукой кобуру пистолета. За ним молчаливой черной волной по белому снегу хлынула толпа местных жителей.

Они послушно остановились, когда лейтенант, дойдя до дома Варвары Табунщиковой, властно отмахнулся и грузно стал всходить по ступенькам на крыльцо, расстегивая оранжевую кобуру. Стоя поодаль от крыльца, вслушивались в гулкий на морозе скрип ступенек под его шагами.

Окна дома были наглухо закрыты ставнями, зашпилены пробоями. Лейтенант ударом ноги распахнул дверь и, наклоняя голову, скрылся в ней, как в норе.

Толпа полукружьем чернела у крыльца на снегу. Над Табунщиковым двором клубилось облако горячего дыхания. Как должного, ждали, что вот-вот прогремит там, в доме, выстрел, взметнется предсмертный крик. А может быть, если хватит у лейтенанта терпения, карающей за смерть брата рукой выволочет он на крыльцо эту страшную женщину и захочет, чтобы все люди увидели акт справедливого возмездия. Ни в одно бы сердце при этом не прокралась жалость.

И поэтому вскоре все начали недоумевать, почему это никаких похожих на крики или выстрелы звуков не доносится из распахнутой двери дома, за исключением гулкого эха шагов и хлопанья дверей. С возрастающим недоумением не увидели люди вопреки своему ожиданию и того, чтобы лейтенант, когда его фигура снова появилась в проеме двери, могучей рукой тащил Варвару Табунщикову. Он был один, с пистолетом в руке. То, что он сказал, было сказано почти шепотом, но его все услышали:

— Убежала, ведьма! Искать!

До полудня разведчики перерыли, переворошили все не только в доме и во дворе у Табунщиковых, но и во всем хуторе. На чердаке у Табунщиковых лейтенант безрезультатно сам перелопатил весь ворох зерна, а из погреба, из-за кадушек с соленьями, вытащил за руку одиннадцатилетнюю Ольгу, взяв за подбородок заглянул в ее помертвевшее лицо и оттолкнул от себя в сугроб. Нет, не она ему была нужна, не с ребенком же сводить ему счеты. Ольга как, потеряв сознание, рухнула в сугроб, так ее и унесла к себе в дом соседка.

Жители добровольно помогали разведчикам в поисках, разметывали вилами сено и заглядывали во все, куда только можно было заглянуть, кутки — и все напрасно. Рано утром Варвару Табунщикову видели у нее во дворе, а теперь она бесследно исчезла.

Между тем волна наступления советских частей уже перехлестнула через хутор и, взбираясь на бугры, покатилась дальше в степь, к племсовхозу и к городу Шахты. Командира разведроты, лейтенанта, разыскал в хуторе мотоциклист и вручил ему какой-то пакет. Вскрыв пакет, лейтенант собрал своих разведчиков и по Исаевской балке, поднимавшейся из хутора в степь, тоже повел их за собой по направлению к племсовхозу.

От племсовхоза по Исаевской балке, ниспадающей в Дон, бежала к хутору Вербному простоволосая женщина и хваталась руками за голову, как безумная:

— Ой, проклятые! Ой, что же они делают! По всему бугру наши сыночки, как снопы, лежат.

За спиной женщины расстилался по заснеженной степи пулеметный стук, заглушая скупые, отрывистые очереди автоматов, хворостяной треск винтовочных выстрелов, хлопушечно-звонкие разрывы гранат. Шел бой за племсовхоз, который частям сибирской дивизии, развивающей из-за Дона вдоль грейдера наступление на город Шахты, не удалось взять с ходу. Наступление замедлилось.

Оно бы не замедлилось, если бы каменные воловники племсовхоза не занимали господствующего положения над правобережной степью. Там и вокруг них угнездились немецкие огневые точки. Стоило сибирякам высунуться из-за бровки лесополосы, как немецкие пулеметы открывали опустошительный огонь. А советские танки и пушки еще только начинали переправляться по льду через Дон.

Той женщине, которая, как безумная, бежала по глухой Исаевской балке от племсовхоза к Вербному, на всем пути встретился всего лишь один человек — другая женщина, с корзинкой, закутанная до глаз в коричневый, с зелеными полосками полушалок.

— Вы, бабушка, не с хутора Вербного? — не угадывая ее возраста, спросила женщина.

Та из-под надвинутого на глаза полушалка окинула внимательным взглядом залитое слезами лицо женщины и в свою очередь спросила ее:

— А тебе, внучечка, кто там нужен, на Вербном?

— Там, в совхозе, какие-то братья Табунщиковы с Вербного засели и своих же сибиряков из пулемета косят. Немцы уже почти все на Артем отступили, а они свою, русскую кровь льют. Ой, сколько там под бугром наших легло! Весь снег красный.

— Нет, милая, я не с Вербного,— выслушав ее, твердо сказала та и, обойдя ее, пошла своей дорогой по Исаевской балке к племсовхозу. А простоволосая женщина, постояв и поглядев ей вслед, побежала по той же балке, но только вниз, в хутор Вербный.

Нет, Варвара Табунщикова совсем не имела намерения бежать из хутора, ей это как-то не приходило в голову, а в том, что ее к этому времени не оказалось дома, виноват был ее внучонок Шурка.

Она не собиралась ни в какие бега в твердой уверенности, что никто из хуторских не мог видеть ее жеста, когда она рукой через плечо указала Павлу и Жорке на сарай, где спрятался разведчик, а каких-нибудь других оснований и причин для бегства из родного дома у нее не было. Она женщина уже не молодая и за своих сыновей-полицаев не может отвечать. Мало ли что они могли натворить... И она хорошо знала, что русские с женщинами не воюют, не то что немцы. А схватываться и бежать из своего гнезда просто так, бросать тут все нажитое — и то, что было в доме, и корову, и сад, и бочки с вином, закопанные в саду,— на произвол судьбы, на растащиловку она не станет. Она за свою жизнь уже набегалась и знает, что нигде никого не ждут. Стоит лишь оставить дом на один день, и ничего не останется ни в сундуке, ни в погребе, не говоря уже о муке в закроме и пшенице на чердаке. Пшеницу три раза привозил на большой немецкой машине Павел и засыпал ею чердак под самую крышу.

Охотники на готовое всегда найдутся, а этой пшенице семье должно хватить не на один год. Еще неизвестно, как оно все повернется. Немцы отступали от Ростова и в прошлом году, а потом опомнились и догнали русских до самой Волги. Вон и Павел, когда вчера вечером садился в немецкую машину, еще раз крикнул ей, чтобы она никуда не трогалась.

— Мы, маманя, далеко не уйдем! — прокричал он с машины.

Ему это лучше известно. И что бы там ни было, а с нею еще остается ее дочь Ольга. Меньшая. И этот дом и все достояние по советским законам принадлежат ей. Мало ли что тут выделывали ее братья. Она в этом ничего не понимает, она еще совсем дитё, и обижать ее никто не имеет права. Если что, Варвара так прямо и скажет, до самого старшего начальника дойдет. Но этого и не потребуется, потому что и с детьми русские тоже не воюют.

И в ожидании, пока фронт перейдет через хутор, Варвара так бы и просидела всю эту страсть с Ольгой в погребе под домом, если бы не внучонок Шурка. Это по его вине она вынуждена была оставить свое убежище и, поручив Ольгу попечению добросердечной соседки, двинуться в путь по Исаевской балке к племсовхозу.

Рыская, несмотря на стрельбу, вместе с своими товарищами по хутору и во всей окружности, Шурка принес своей бабке весточку из племсовхоза от ее сыновей — от Павла и Жорки. Все жители сидели по погребам и, пригибая головы, слушали, как клекочут над их головами, перелетая из-за Дона и обратно, снаряды, отборной дробью рассыпаются по степи пулеметные очереди и где-то у станицы Раздорской, падая в Дон, с гулкими вздохами разрываются в воде авиабомбы. Лед там давно уже был разбит, широкая полоса воды темнела поперек Дона. С правобережной горы можно было увидеть и фонтаны вздыбленной разрывами воды, радужно сверкающей под зимним солнцем.

Изредка лишь, когда стихали выстрелы, женщины крадучись перебегали из погребов к сараям, чтобы подоить — у кого они еще остались — коровенок, озираясь, спускались с ведрами к Дону зачерпнуть из лунки воды. Надо же было чем-то кормить-поить детишек, что-то, хотя и второпях, для них сготовить.

И только самим детишкам, особенно ребятам, неведом был страх смерти, и та война, которая сейчас гремела и визжала на все голоса над Доном и над степью, кровавила снег, ка-

залась им лишь продолжением их детской игры, начатой еще в том самом раннем возрасте, когда их отцы позволяли им трогать свои винтовки и наганы, щелкать затворами и вскидывать на плечо их шашки, щедро снабжали их патронными гильзами, одаривали кокардами со старых фуражек и звездочками с облупившейся красной эмалью. Но продолжение детской игры для ребятишек было еще интереснее самой игры и потому, что там нужно было учиться губами кричать «та-та-та», «фью-ить» и «бах-бах-бах», притворяться убитыми, хватаясь во время атаки за грудь, шатаясь и падая ничком, а тут неподдельное, деловитое «та-та-та!» расстилалось по степи, как зерно по лантуху, пули весело посвистывали над головой, и бабахало так, что из рам высыпались стекла, а убитые если падали на землю, то потом уже ни за что не вставали опять для продолжения игры, их уже не поднять было и нетерпеливым дружеским прикосновением: «Петька, вставай, ну вставай же... Побегли!» Продолжение игры оказалось гораздо интереснее самой игры еще и потому, что незачем было притворяться, что страшно. Было действительно страшно, и этим-то продолжение детской игры и было больше всего интереснее самой игры, но того страха, что тоже могут убить, все-таки не было, потому что на настоящей войне по правилу должны убивать только взрослых.

И, несмотря на строжайшие запреты, увещевания и угрозы матерей, ребятишки вышмыгивали у них под ногами из погребов и ям, и бежали как раз туда, где громче всего гремело и визжало, где земля, снег и вода поднимались на дыбы, полыхал огонь, пожирая чакан крыш, саман стен, скирды соломы и деревья в садах и расплавляя снег подобно весеннему солнцу.

Не мог, понятно, отстать от своих хуторских товарищей и Шурка Табунщиков. Он-то и принес Варваре в погреб известие о том, что его отец Павел с дядькой Жоркой — ее сыновья — находятся сейчас в племсовхозе.

Когда Шурка появился в дверях погреба, бабка хотела схватить его за ухо, но сообразительный внучонок предупредил ее движение жарким шепотом:

— Бабуня, папаня с дядей Жорой велели переказать вам, что они покуда живые и здоровые. Там они сейчас вдвоем за одним пулеметом. Только наши из станицы на шлях — и они стреляют...

В этом месте Варвара перебила внука:

— Какие, Шура, наши?

Для внучонка Шурки нашими были те, кого так называли все его товарищи, и он не понял, почему переспрашивает его бабка.

— Ну русские. А харчи у папани с дядей Жорой уже все вышли. Немцы всех полицаев бросают в совхозе, а сами подаются на Шахты.

И, услышав эти слова, Варвара сразу же собралась в дорогу. Конечно, легче было поручить отнести сыновьям харчи тому же Шурке, которого никто не станет задерживать, но тут же она подумала, что столько харчей, сколько необходимо передать для двух таких едоков, какими были ее сыновья, маленькому Шурке ни за что не унести. Да и она хоть еще один раз взглянет на них, своих рoдных. Кто знает, может быть, в последний раз. А бояться ей нечего. Если что, она свое отжила.

И, наложив полную корзину харчей, она тронулась из хутора в путь в тот самый час, когда советские части, наступающие со стороны Задонья, завязали бой за хутор Вербный.

Теперь из слов встреченной ею женщины она окончательно убедилась, что Павел с Жоркой еще не отступили дальше совхоза. Оказывается, не так-то просто было и прогнать их оттуда. Кто знает, может, они и сбудутся, слова Павла, что все это отступление — дело временное, немцы еще выровняют фронт и посунутся обратно. Может, как раз от племсовхоза и погонят они русских назад.

В степи справа и слева от Исаевской балки бушевал бой, а в самой балке в этот зимний полдень было сравнительно тихо. Должно быть, еще и потому, что промытая весенними потоками балка была глубокой и все звуки проходили над нею поверху. Из-под ног Варвары, из-под венчиков пригнувшегося к земле прошлогоднего бурьяна то и дело шарахались зайцы — тоже отсиживались от войны.

В теплое время из Вербного по этой балке ездили кратчайшим путем в племсовхоз и на Исаевские хутора. Весной хорошо наезженная дорога весело бежала среди обкиданных бледно-алыми розочками кустов шиповника, а ближе к осени — среди них же, но уже осыпанных красными огоньками ягод. Теперь же здесь едва был проложен по снегу санный след.

Немцы обычно такими глухими дорогами в степи не пользовались, и этот след из Вербного здесь могли проло-

жить только Павел с Жоркой. Больше ни у кого на хуторе не было лошадей.

Павел, уезжая на Исаевские хутора, обычно говорил, что едет туда ловить партизан, а Жорка всегда молчком седлал своего, бывшего сельсоветского, жеребца и ехал. Но Варвара-то хорошо знала, что ездит он туда к своей еще довоенной полюбовнице Косаркиной Лидке. Как бы он ни отгребался от нее к другим бережкам, а все-таки к ней же и причаливал, несмотря на то, что и бабенка была последняя из никудышних. Кривая и такая хожалая, что Жорка сам же иногда под пьяную лавочку плевался:

— Из стервей стерва! Пробы негде ставить.

Но стоило только и матери поддержать этот разговор, как он тут же повышал голос:

— Маманя, не вашего это ума дело.

...Она перекинула корзинку в другую руку и пошла быстрее. Балка взбегала на увал, за которым начинался спуск к племсовхозу. Но однажды ей все же пришлось задержаться и сойти с дороги в сторону. Снизу по балке до нее донеслись голоса и далеко раздающийся по степи хруст морозного снега. Она сошла с дороги и на всякий случай по-заячьи прилегла под стенкой старого бурьяна, придавленного и пригнутого в одну сторону к земле снегом. Там было тепло и сумрачно, пахло живой землей, защищенной от стужи. Кое-где даже зеленела трава.

Вскоре она услышала, как мимо нее, тяжко дыша и вполголоса на ходу перебрасываясь словами, кучкой прошли русские. Не прошли, а пробежали. Куда-то они спешили.

Она лежала в бурьянах, не поднимая головы, и слышала, как они звякали подковками сапог по обледенелым кочкам, переговариваясь между собой.

— Эх, сейчас бы тут с ружьем и с собакой! Гляди, сколько заячьих следов!

— Тут и лисы должны быть.

Она плотнее прильнула грудью к земле. Один как будто слегка охрипший или чем-то опечаленный голос внезапно показался ей знакомым.

— И ее сыночки не могли далеко уйти, и она сама где-то возле них крутится. Только бы не ушли! — И она содрогнулась, услышав, с какой мрачной тоской произнес эти слова знакомый ей голос. Тут же он изменился на безоговорочно властный: — А теперь все замри. Здесь у них и засада может быть. Уже совсем близко.

После того как они прошли и скрылись за поворотом бал-

ки, загибающей вправо, к племсовхозу, еще некоторое время в воздухе оставался легкий табачный запах, смешанный с запахом мужского пота и овчины, и развеялся, спугнутый ветром. Теперь можно было и ей подниматься. Боясь поднять из-под бурьяна голову, она так никого и не увидела из только что опахнувших ее своей горячей близостью русских, не увидела и того, кто произнес последние слова, но она его узнала. Она узнала его по голосу. И когда она поднималась из бурьяна с земли, впервые за свою жизнь она показалась себе совсем старой. Ей трудно было разогнуться и встать с колен, а кошелку с харчами для своих сыновей она едва оторвала от земли. А всего-то и лежало в ней четыре хлебины, полсотни вареных яиц и кило три сала. Еще осенью она свободно носила сама на плече из лодки домой мешки с картошкой, привезенной с задонского огорода.

Значит, это разведчики, которые так быстро прошли мимо нее, и спешили так по балке к племсовхозу, чтобы успеть захватить там Павла и Жорку. Значит, кто-то в хуторе видел и то, как она указала через плечо рукой на сарай, где прятался разведчик, братушка этого командира с осипшим голосом. А тогда, когда он глотал блины, голос у него был несиплый. Видно, спешит, чтобы успеть настигнуть ее сыновей, взахлеб глотает раскрытым ртом морозный воздух, вот и охрип, как кобель. Все ж таки не догнала его тогда в садах пуля Павла. И вот теперь надеется он догнать ее сыновей и свести с ними счеты за теперь уже мертвого братушку.

А заодно этот командир хочет свести счеты и с нею, потому что кто-то из хуторских уже поспешил донести ему, что это она показала на его братушку. Надеются, значит, что немцы уже никогда не вернутся в хутор. А что, как вернутся?..

Что бы там ни было впереди, а поворачивать теперь с полдороги назад она не станет. Чем бы это ей ни угрожало. С нее довольно, она, можно сказать, и сама уже нажилась и насмотрелась на людей, а на них, на своих сыночков, она обязательно должна взглянуть еще хоть раз, может быть, и в самый последний раз. Вот как прошагал мимо нее по балке русский командир, спешит поскорее настигнуть их, отомстить, крадется по балке, чтобы зайти к ним в спину, как большой, хитрый зверь. Да, видно, вгорячах промахнулся из своего карабина Павел.

И не возвращаться же ей домой обратно с полной корзинкой, с тремя кусками сала, с хлебом и полсотней вареных яиц. Двадцать пять штук для Павла вкрутую и двадцать

пять для Жорки всмятку. Павел с детства уважает крутые яйца, а Жорка — больше всмятку, и она поровну наварила им тех и других. Это еще с прошлого года яйца сохранялись у нее в ящике с солью.

Балка, поворачивая вправо к племсовхозу, все более круто забирала вверх, а тяжелая корзинка с харчами для сыновей тянула назад, но Варвара еще быстрее, чем до этого, пошла вперед, часто соскальзывая по обледенелому склону вниз и хватаясь руками за бурьян. Она обязательно должна была не опоздать и все-все увидеть своими глазами.

Громче надвигался от племсовхоза бой. Над головой все чаще куропатками перепархивали осколки. Русские пушки обстреливали племсовхоз из-за Дона. Один снаряд разорвался позади Варвары в балке, ее толкнуло воздухом в спину. Теперь уже она ползла в бурьянах на коленях. Корзинка мешала ей, но было уже совсем близко. Волоча за собой корзинку, она доползла до верха и прилегла в бурьяне, выглядывая из-за склона Исаевской балки, которая пошла дальше к племсовхозу.

Все она видела своими глазами. То стояла на четвереньках в бурьянах, а то и не заметила, как привстала на колени, позабыв, что ей и самой надо остерегаться. О себе она совсем забыла. Сильный ветер срывал у нее с головы полушалок, темный конец его с махрами развевался за спиной. Из того, что открылось ее взору, она ничего не могла и не должна пропустить, потому что это, может, в последний раз она смотрит на них, на живых.

И она ничего не пропустила. Командир в полушубке, брат застреленного Павлом разведчика, подкрадывался со своими солдатами к племсовхозу по Исаевской балке снизу, а Павел с Жоркой лежали спиной к ним у пулемета за гребнем увала, наблюдая за большой дорогой — грейдером — из станицы на город Шахты. Как только наступающие от станицы и от Вербного сибиряки, вставая на грейдере и по обочине от него, начинали кричать «ура» и бежать к племсовхозу, Павел открывал из пулемета огонь. Пули, перерезая грейдер наискось, взбивали над ним облачка снежной пыли, и сибиряки опять ложились среди сугробов. И среди желтых полушубков на снегу все больше становилось красных. Как будто среди желтых тюльпанов распускались на снегу красные.

Варвара хорошо видела, что за пулеметом все время

управляется один Павел, а Жорка только помогает ему: подает какие-то коробки. Впереди пулемета, за которым лежали Павел с Жоркой, от русских пуль тоже ослепительно вспыхивала снежная пыль, но каждый раз ее сыновья успевали схорониться за гребень увала. Со своего места им все хорошо было видно — и дорогу, и всю степь, и даже Задонье — и очень удобно было стрелять, а русские их достать не могли. Такое ее сыновья выбрали себе место. Это, конечно, все Павел, он тут каждую сурчиную норку знает в степи. Недаром комендант Герц никогда не мог обойтись без него, когда нужно было искать по окрестным лесочкам и хуторам партизан.

Теперь Герца в станице и духу не слыхать, и, пожалуй, он уже больше не вернется, хоть Павел и говорит, что немцы только выровняют фронт, а потом вернутся обратно. Что-то не похоже. Если бы они надеялись вернуться, то не бежали бы, как суслики весной от полой воды, не бросали бы свои машины и танки. Вон их сколько понапихано по всем балкам и логам в степи, куда ни глянь! Какие горелые, а больше целехонькие, как игрушки. Когда уйдет фронт, надо будет съездить туда с тачкой, поискать там немецких шинелей и всякого другого добра. Сукно у них на шинелях хорошее, можно и зимнюю юбку сшить, и жакет, и даже пальто. Если их побольше поджиться, лучше всего их попороть, перекрасить и потом потихонечку сбывать в городе на толкучке. Теперь людям еще долго ходить будет не в чем.

А если получше в этих балочках поискать, то можно и не одну пару хороших немецких сапог раздобыть.

Из племсовхоза они, видать, тоже спешат поскорее убраться. По-за воловниками уже почти совсем не осталось машин, последние одна за другой вырываются на грейдер и как угорелые бегут в степь на Керчик. Вот сибиряки намеряются обойти племсовхоз, чтобы отрезать его от Шахт, а Павлов пулемет мешает. Только поднимутся, загорланят свое «ура», сунутся на грейдер — и тут же носом в землю. И опять прибавляется на снегу красных пятен. Цветут, как тюльпаны в майской степи.

Всего один пулемет, а у немцев на него надежда. И получается, что, если бы не Павел с Жоркой, им бы ни за что не вырваться из совхоза.

А как же они решили быть потом с ее сыновьями — бросить их в совхозе? Только бы, значит, свою шкуру спасти... Вот что значит фашисты! А на что же тогда надеются ее сыновья, например Павел? Он старший. На Жоркино сообра-

жение надеяться нельзя, у него и раньше на уме всегда были только водка и бабы. И не должен же Павел, спасая немцев, допустить, чтобы его самого с его умом и ухваткой теперь так по-глупому обманули.

На что-то, значит, надеется, если продолжает строчить из пулемета без оглядки. На что же? Варвара еще немного проползла, оставляя за собой, как волчица, извилистый след в бурьянах, и, присматриваясь получше, увидела неподалеку от Павла и Жорки двух верховых лошадей, спрятанных за Исаевской балкой в кустах терна. Терны были застарелые и такие густые, что даже по зимнему времени с одного взгляда нельзя было разглядеть лошадей сквозь их синие ветки. Но все же она разглядела. Это были не те лошади, на которых Павел ездил по степи искать партизан и Жорка ездил к своей полюбовнице на Исаевские хутора, а два хороших гнедых коня, не иначе взятые из табуна в племсовхозе. В племсовхозе всегда был хороший донской табун, до войны за лошадей в Москве на выставках получали золотые медали.

И ещё Варвара разглядела, что оба коня были подседланы, при них были торбы и переметные сумы. На таких лошадях можно далеко ускакать, и не так-то просто их догнать, если, конечно, догонять их не на машине. Но Павел не глупой, чтобы уходить по степи от погони битыми дорогами. А по глухим дорогам, по высохшим руслам степных балок никакая машина за ними гоняться не станет.

Теперь она поняла и то, почему это Жорка, подползая к Павлу сзади, все время дергает его за край полушубка и указывает рукой на терны. Торопит уезжать, боится, что не успеют. А Павел, не оборачиваясь, отмахивается от него и опять прикипает к пулемету, строчит. Смелый, как отец. Тот в сельсовете сказал, что пусть его лучше на Соловки сошлют, чем он свою молотилку, быков и лошадей голодранцам в колхоз отдаст.

Но теперь эта смелость совсем ни к чему. Вон и последняя машина с немецкими солдатами вырвалась из-за воловника и помчалась в степь к Шахтам. На усадьбе племсовхоза стало совсем пусто. И сибиряки все-таки уже перерезали грейдер, перебегая под пулеметным огнем, подбираются к самому совхозу.

И дались Павлу эти строчки, после которых остается на снегу красная прошва. Варвара увидела, что, не ожидая больше брата, Жорка скатился по заснеженному склону на дно балки и первый побежал к тернам, где стояли их кони.

Тогда и Павел оглянулся, простучал последнюю строчку и, бросив на гребне увала пулемет, заскользил вниз по склону.

Она и не заметила, что поднялась из бурьянов во весь рост, стоит и смотрит, как ее два сына бегут через Исаевскую балку к своим спрятанным в тернах коням. И они бы добежали, если бы в это время из-за поворота балки по ее руслу не вывернулись вдруг, отрезая их от тернов, те самые русские солдаты, о которых она уже забыла.

Впереди бежал командир в полушубке, брат разведчика, застреленного из немецкого карабина Павлом. Стоя во весь рост, все-все она увидела своими глазами, хотя и не это надеялась увидеть. И то, как Жорка, увидев, что наперерез бегут русские, сразу же поднял руки и плюхнулся задом на снег, как мешок с зерном. И то, как Павел, продолжая бежать к тернам, выхватил пистолет и стал стрелять в командира, который первый хотел отрезать ему путь к лошадям, а командир, не стреляя, бесстрашно бежал под выстрелами Павла и, оборачиваясь, что-то кричал, махая рукой солдатам. Ей почудилось, что она расслышала, как он кричит высоким режущим голосом:

— Живь-ем! Живь-ем!

Должно быть, она услышала правильно, потому что и другие солдаты, не стреляя, полукругом охватывали терны, где стояли подседланные кони. Жорке теперь уже не нужен конь, он сидит на снегу, закрыв руками лицо, а Павел уже близко от тернов, где стоит его лошадь. Варвара видела все. Русский командир, перерезая Павлу дорогу, уже вплотную сходился с ним у тернов. Теперь и она убедилась, что, не стреляя, он непременно хочет взять Павла живым, чтобы отомстить ему за своего братушку, а Павлу все никак не удается попасть в него из пистолета, никак не удается. Должно быть, трудно ему целиться сбоку и на бегу.

И, должно быть, поэтому же, когда командир русской разведки, добегая до него, уже протянул к нему свои большие руки, Павел быстро остановился, повернулся к нему лицом и выстрелил в него из пистолета в упор. Варвара только вскользь увидела, как командир русской разведки тут же упал, и больше не стала на него смотреть, потому что все ее внимание было приковано к Павлу. Это был ее первенец, ее любимец, и не может быть, чтобы он дался им в руки.

Она хотела все видеть, и она все увидела. И то, как добе-

жал наконец Павел до дремучих тернов. И то, как потом вынес его оттуда, из синей чащи, гнедой тонконогий конь.

С гребня степного увала, перерезав ее преступного сына надвое смертоносной строкой, простучал пулемет. Тот самый, из которого он только что расстреливал сибиряков, засевая февральскую степь яркими красными цветами.

Когда через две недели Варвара постучалась поздно вечером домой, дочь Ольга, открыв ей дверь, отступила назад, увидев, что у нее трясется голова и глаза блуждают, как у безумной.

Все это время Варвара отлеживалась на Исаевских хуторах у Жоркиной полюбовницы Лидки Косаркиной, к которой, не помня себя, доползла по снегу, по бурьянам в тот день, когда все, что произошло с ее сыновьями, она увидела своими глазами.

Ее потребовали к ответу. Сперва, когда еще недалеко ушел фронт, приезжали военные следователи, возили ее с собой на допросы, а потом, уезжая с фронтом вперед, на запад, передали ее на руки следователям гражданским. Расспрашивали и спокойно, терпеливо угощали чаем с сахаром внакладку, и стучали на нее по столу кулаками так, что подпрыгивали чернильницы. На все расспросы Варвара отвечала:

— Ничего я не знаю. Наговоры. Сыновья по себе, а я по себе. Старая я уже, отпустите меня.

Один военный следователь, молоденький капитан, бился с ней три дня, вежливо уговаривал во всем признаться, иначе ей же будет хуже, а когда она стала стыдить его, что он никак от нее не отстанет, и сказала, что у него тоже, должно быть, есть мать, вдруг приблизил к ней побледневшее лицо и зловещим шепотом просвистел, раздувая широкие ноздри:

— Ну ты, старая ведьма, ты моей матери не тронь, ты даже этого имени «мать» не смеешь касаться.

И все же в конце концов они отстали от нее. Ничего им не оставалось делать, потому что, кроме одной-единственной соседки, никто не мог подтвердить, что это именно она выдала разведчика, который хотел спрятаться у нее в сарае. К тому же и соседка со временем все с меньшей твердостью показывала на следствии, что этот жест Варвары через плечо рукой действительно означал, что она указывает на разведчика.

А может, это движение означало и что-нибудь другое, или

же просто Варвара в эту минуту поднесла руку к плечу, хотела поправить платок. Соседка сама себе отказывалась поверить, что другая женщина, мать троих детей, взяла на свою душу такой грех. Конечно, Табунщиковы на весь хутор были самые угрюмые люди, бывало, зимой у них снегу не разживешься, и сыновья Варвары натворили такое, что стынет кровь в жилах, но одно с другим нельзя путать. Иначе как бы не пострадал и безвинный человек, а этого греха на душу тоже нельзя взять.

И показания соседки с каждым днем становились все туманнее. То она уверенно отвечала на следствии: «Своими глазами видела, не слепая...», а то стала уклончиво говорить: «Оно, конечно, может, мне и привиделось. Я и сама женщина уже старая, перед вечером совсем плохо вижу, а очки мне немецкий солдат разбил, когда я с ним из-за последней курицы боролась».

Где-то в глубине души соседка продолжала верить, что Варвара не просто так, по случайному совпадению, показала рукой через плечо, но на это время, пока Варвару возили на следствие, эта добрая женщина приютила ее дочку Ольгу, каждый вечер укладывала в постель рядом с собой, потому что девочка напугалась бомбежки и боялась спать одна, и чем крепче Ольга по ночам прижималась к ее плечу, вздрагивая и всхлипывая во сне, тем глубже заползала в сердце соседки жалость. Вот может и еще одна появиться на свете сирота. И тем все больше женщина разуверялась в том, что видела она из окна в тот страшный день своими глазами. Нет, должно быть, и правда ей почудилось. Наступил день, когда у нее в ответ на вопрос следователя, уж не намерена ли она, судя по ее поведению, отказаться от своих прежних показаний, вдруг вырвалось от всей усталой души:

— Да ослобони ты меня, сынок, ради Христа, от своих расспросов. Мало ли чего глупой бабе не покажется, а вы всему верите. Я сейчас и сама ничего не знаю и не помню. Ослобони ты меня от этого дюже поганого дела. Я с судами сроду дела не имела и до смерти иметь не хочу.

И следователи, слушая такие слова, сами начинали колебаться. А Варвара сидела перед ними старая, с трясущейся головой, и ни разу не сбилась, отвечая на все вопросы, говорила одно и то же. Следователи менялись, синяя папка с делом переходила из одних рук в другие, и каждому новому следователю все с менее жгучей реальностью представлялось все то страшное, что произошло на Табунщиковом дворе в февральский полдень 1943 года. Все более неправдоподоб-

ным казалось, что эта русская женщина, сама мать, способна была на такое злодеяние, и все более расплывчатыми и недоказательными представлялись косвенные — прямых не было — улики этого дела. И наступил день, когда рука самого последнего из следователей вывела заключение наискось первого листа этого дела: «За отсутствием достаточных улик производством прекратить». С этого дня милиция и прокуратура оставили Варвару в покое.

В тот же день она прямо из райцентра, из прокуратуры прошла на хутор Каныгин, где действовала церковь, и заказала службу «за упокой убиенного раба божьего Алексея». Она помнила, что командир русской разведки так называл своего братушку.

И так как, кроме соседки, никто больше не мог видеть, как Варвара выдала разведчика немцам, то и люди в хуторе к ней помягчели, хотя и не забывали, что она мать двух полицаев. Но все же это не то, что самолично предать человека врагам на верную смерть... А еще позже приехал в хутор и поселился здесь хороший парень из демобилизованных сержантов Дмитрий Кравцов — вся грудь в боевых наградах, женился на Ольге Табунщиковой, которой к тому времени исполнилось восемнадцать лет, и многое закрыл своей спиной. За этой спиной и Варваре стало спокойней.

С первого утреннего парохода сошла на станичной пристани в пяти километрах от хутора старая женщина. У берегового матроса поинтересовалась дорогой на Вербный. Взглянув на ее одежду — на серое платьице, такого же цвета жакет — и большую клеенчатую сумку, матрос сразу определил: не местная. Но и не с Вербного, потому что за свои шестьдесят лет жизни на этом берегу старый матрос успел узнать в лицо не только всех станичных жителей. И, охотно рассказав приезжей, что идти на Вербный ей следует по-над Доном, у самой воды, а дальше и до самого Вербного по-над виноградными садами, он в свою очередь полюбопытствовал:

— А вы туда к своим сродственникам али просто к знакомым?

Сквозь толстые стекла очков женщина взглянула на него большими глазами:

— К родственникам.

И, повернувшись, пошла по береговой дороге. «Не иначе, учителка, а теперь на пенсии»,— почему-то с уверенностью заключил матрос, наблюдая, как она трудно переступает по

песчаной дороге в своих серых парусиновых туфлях. Нет-нет, а матрос и взглядывал потом на дорогу, жалея, что постеснялся расспросить приезжую как следует и теперь должен ломать голову, какие именно родственники живут у нее на Вербном. Вскоре всех, кто только мог показаться ему подходящим в роли ее родственников, он перебрал и ни на ком не мог остановиться. Но и солгать эта старая женщина ему не могла: глаза ее взглянули на него, расплываясь за стеклами очков, серьезно. За свои шестьдесят лет он успел убедиться, что такие глаза не лгут. А так как ему предстояло еще весь день проскучать на пустынном берегу между пароходами, которые приставали здесь редко, то он и продолжал размышлять об этом до тех пор, пока серый комочек на береговой дороге не втянулся под зеленые вербы. Но и после этого он еще не раз принимался буравить взглядом глянцевитую листву верб, под которыми скрылась эта женщина.

Несмотря на то, что накатанная колесами подвод и натоптанная пешеходами дорога от станицы до самого хутора ни разу не удалялась от Дона, от воды, а справа притенялась вербами и листвой виноградных садов, пройти по ней пять-шесть километров в этот утренний час было нелегко. Под крутым склоном правого берега застаивалась, не расступаясь и ночью, духота, а струя ветра если и достигала сюда временами, то приходила она все с одной и той же стороны — с юго-востока. Не охлаждала она, а еще больше накаляла воздух.

Эта же осень была особенно сухой, жаркой. Уже к концу сентября она как будто пораскидала среди прибрежных талов багровые цыганские платки. Закрадывалась желтизна и в листву верб. Только на густую, сочную зелень виноградных садов еще не успела брызнуть ни единая капля осенней краски.

Женщина с утреннего парохода вскоре сняла с себя жакет, спрятала его в сумку и, сломив сбоку дороги ветку, стала ею обмахиваться. Лицо у нее покраснело, покрылось каплями пота. Не так-то легко было ей вытаскивать свои уже немолодые ноги из песка. Она останавливалась, вытряхивала его из туфель и шла дальше. За всю дорогу она только раз и остановилась, чтобы отдохнуть.

Она сошла с дороги и опустилась на траву под вербой, когда впереди из зелени садов уже забелели хуторские стены, засверкали под солнцем стекла окон и стал круто заворачивать, подниматься в гору плетень, которым были отгорожены от дороги кусты винограда, отягощенные черными

и желтыми, как будто отлитыми из чугуна и меди, гроздьями.

Оказывается, никто особенно не ждал к себе в гости эту женщину там, в хуторе Вербном, если она уже у самого конца пути решила позавтракать тем, что взяла с собой в дорогу в свою клеенчатую сумку. Разостлав на траве газету, она достала хлеб, два яичка и пузырек с солью. Все это наблюдал из-за плетня сторож виноградного сада. Он сидел на маленькой деревянной скамейке у входа в свою сторожку и обшивал автомобильной резиной валенки. Он заметил эту женщину со своего возвышенного места еще тогда, когда она только что отошла от станицы, и по ее походке, по другим разным признакам легко определил, что она уже давно вышла из того возраста, когда ногам ничего не стоит пройти пять или шесть километров в самое пекло.

А он и сам уже был старик. Он и на войне был, через фашистский плен прошел и с тех пор усвоил себе твердое правило — непременно делиться с людьми тем, чем только мог поделиться. Он сразу увидел, что у этой женщины с харчишками, взятыми ею в дорогу, не густо. С двух ближайших кустов винограда старый сторож срезал садовым ножом две большие спелые грозди — черную и белую, вышел из калитки из-за плетня и, поздоровавшись с женщиной, молча положил их перед ней на газету.

Она не удивилась и не отказалась, взглянув на него снизу вверх увеличенными стеклами очков глазами:

— Спасибо.

— Кушайте на здоровье,— ответил он и, отойдя чуть поодаль, прислонился к стволу вербы, ни о чем ее не расспрашивая, по опыту зная, что, если человеку необходимо открыть свою душу, он сам ее и откроет, а если нет, то незачем и ломиться туда к нему без спроса.

Она спросила у него, взглянув на белеющие впереди из зелени домики:

— Это и есть хутор Вербный.

— Так точно,— ответил он по солдатской привычке.

Одну гроздь винограда женщина съела, отщипывая с нее ягоды тонкими, худыми пальцами, а другую завернула в газету и положила к себе в сумку.

— После съем. Хороший виноград. Но очень сладкий.— И она виновато улыбнулась старику одними глазами.— После него еще больше пить хочется.— Она достала из сумки эмалированную голубую кружку, намереваясь сходить с нею к Дону.

Он остановил ее:

— Нет, мы тут воду из колодца пьем. Донская хоть и тоже хорошая, а теплее.

Она огляделась по сторонам:

— Из какого колодца?

— Видите, в балочке зеленеет камыш. Там раньше кулацкие Табунщиковы сады были. По глупости их перевели, а колодец остался. Там сейчас могила.

Женщина посмотрела, куда он указывал рукой. Там буйно зеленел камыш. Старику показалось, что в голосе у нее что-то тоненькое звякнуло, когда она спросила у него:

— Какая могила?

— Братская. Немцы двух наших разведчиков побили тут на окраине хутора... — Он почему-то не договорил, увидев, как что-то трепыхнулось у нее за стеклами очков, как будто шарахнулась птица.— А наши люди потом похоронили их возле этого колодца. Место хорошее, весной тут соловьи поют, а мимо пароходá идут из самой Москвы.— Под ее взглядом он вдруг стал словоохотливым и суетливым.— А вода там холодная и чистая, как слеза. Родник. Да я вам сейчас наберу,— и он протянул руку за кружкой.

— Нет, я сама схожу,— сказала женщина.

И, встав, она с кружкой в руке пошла туда, где зеленел камыш. Разомкнувшись, он с шорохом сомкнул за ее спиной свои широкие листья.

Старик подождал женщину под вербой, думая о том, что взгляд у нее такой, как будто это не взгляд, а рана, и своими глазами она может перевернуть человеку всю душу, и вскоре забеспокоился: что-то она не возвращалась. За это время уже раза три можно было сходить к колодцу и вернуться обратно. «Как бы,— подумал он,— с нею не случилось что-нибудь плохое. По такой жаре ей в непривычку много ходить, очень даже просто может случиться. А то, может, она напилась родниковой воды, отдохнула у колодца и незаметно для себя там же уснула». Он знал и за собой эту слабость.

Он еще немного подождал и решил все-таки сходить к колодцу. Раздвигая камыш, выглянул из него на залитую солнечным светом поляну.

Там зеленела молодая трава. Поблизости от воды она была особенно яркой, пушистой. Взгляд старика нашел женщину у могилы. Она лежала сбоку нее вниз лицом, раскинув руки, как птица крылья. Так он и думал, уснула. Напилась холодной воды, села отдохнуть у этого тихого места, по-женски сочувствуя чьему-то чужому горю, и, умиротво-

ренная тишиной, незаметно приклонилась к земле. Сбоку на траве лежала ее голубая кружка.

Ему это было знакомо, пусть поспит. От колодца, от большой вербы падает на могилу тень, и спать ей совсем не жарко. А весь день еще впереди, и хутор, куда она идет, уже рядом. Поспит, отдохнет и успеет дойти, куда ей нужно. Нет, он ее будить не станет, а лучше пойдет и сам передремнет в сторожке на ворохе травы час-другой, пока ребятишки не начнут возвращаться из станичной школы с утренней смены в хутор, и ему опять придется отбивать их атаки на виноградный сад. Если бы их было пять или десять человек и каждый рвал по кисточке винограда, а то их налетает целый эскадрон и каждый норовит набузовать полную пазуху. После их набегов по кустам будто град проходит.

Ему и жаль детишек, и не вправе он им попускать, иначе от колхозного сада останутся одни лозы. Иногда ему приходится и из ружья их пугать, стрелять холостыми в воздух, хотя он и сам не любит, ох не любит, звуков выстрелов, с тех пор как вдоволь наслышался их там, на фронте.

А пока и ему не возбраняется подремать. Дело стариковское. Вон как она обхватила во сне руками холм земли, как будто это подушка. Не пошелохнется.

Он совсем уже хотел отступить назад, уйти в сторожку на охапку молодого, недавно накошенного им сена, которое вместе с запахами так хорошо объемлет мгновенной дремотой, и остановился. Ему показалось, что женщина окликнула его. Нет, она все так же лежала у могилы. Но то, что она разговаривала, ему не послышалось. Вот только нельзя было понять, то ли во сне она, то ли беседовала сама с собой, как это делают иногда люди. Чаще это бывает у них под старость. Ему и самому иногда приходится вздрагивать от звука собственного голоса. Осмотрится, а поблизости — ни души. Один на весь сад.

Ну и пусть эта женщина поговорит себе на здоровье. Значит, ей нужно. И, во всяком случае, это не причина, чтобы нарушать ее одиночество, навязывать ей свое присутствие. И старик обязательно бы по возможности с наименьшим шумом, отступил из камыша, если бы его уха не коснулись слова этой женщины.

— Вот наконец и нашла я тебя, Алеша,— умиротворенно и радостно говорила она, как будто обращалась к кому-то еще, кто разделял с ней беседу в этот полуденный час на могиле посреди солнечной зеленой поляны.— Пятнадцать лет искала и все-таки нашла. А ты уже, наверно, думал, что

мать тебя забыла. Но если бы не этот твой товарищ Володя Пушков, я бы, Алеша, тебя ни за что не нашла. Ведь только он один и остался из вас четверых, а, кроме него, мне больше никто не мог указать дорогу к тебе. Я его, Алешенька, и в Сибири искала и в других местах, а он, оказывается, живет совсем близко, в совхозе под Сальском.— И она тихо засмеялась.— Ты его, конечно, хорошо помнишь, черный такой и с усиками, похожий на грузина. Но он не грузин, а русский.

Старый сторож виноградного сада давно уже понял, кому она предназначала эти свои слова, привалившись боком к могиле и обхватив ее руками так, будто она боялась, что вновь может потерять то, что наконец нашла после стольких исканий. И теперь она разговаривала со своим погребенным в этой могиле сыном, как с живым.

— А от тебя я пойду к Пете. Этот твой товарищ с усиками, Володя Пушков, сказал, что отсюда до племсовхоза совсем близко. Там Петю и похоронили в братской могиле. От тебя, Алеша, и пойду. Вот и повстречаюсь с вами с обоими...

В знойной тишине однотонно покрикивал, как дул в порожнюю склянку, удод: «Худо тут, худо тут». Старик вдруг ясно почувствовал, как что-то толкнуло его в грудь и потом мягко стиснуло, зажало сердце.

Этот человек повидал за свою жизнь немало. В германском фашистском плену его не раз травили овчарками, и каждый день он ожидал, когда и его назначат мыться в бане, а это означало — прощайся с жизнью. В предбаннике этой самой бани за каждым военнопленным закреплялся специальный шкафчик, куда он должен был замкнуть свою одежду — свою полосатую робу, и потом с одним номерком на шее он вступал в главный зал бани, слыша, как за его спиной задвигается стальная дверь. После этого сыпался на головы пленных через решетки в потолке изобретенный каким-то германским ученым порошок, и они тут же начинали вянуть от него, как мухи. Из этой бани выхода не было.

Повидал этот рано состарившийся человек за свою жизнь и многое другое — и ни разу не заплакал. Никто и никогда не видел, чтобы блеснули у него в уголках глазниц слезы.

Теперь же они как прорвались у него сквозь какую-то плотину. Он ушел за ствол вербы, чтобы никто нечаянно не стал свидетелем, как он плачет. Как росу, он сердито сгребал слезы с глаз и со щек ладонями, сбрасывал их с лица, а они все бежали. И откуда только они могли взяться?! Как, скажи, специально накапливались всю жизнь, дожи-

даясь этого полуденного часа золотой донской осени, когда все вокруг так тихо, так спокойно, пронизанные солнцем, плавятся спелые гроздья на виноградных кустах, все должно радоваться жизни и только один удод продолжает настаивать на своем: «Худо тут, худо тут». Но ему никто не верит.

Еще довольно много времени прошло, прежде чем она появилась из камыша. Солнце, ярко-красное с утра, когда оно еще только поднималось из-за Дона, и ослепительно желтое, как цветок подсолнуха, когда оно в полдень стояло над островом, теперь опять побагровело, прячась за Володин курган, за большую, похожую на лохматую овцу, тучу. Казалось, к соскам овцы припадает курчавая ярочка.

Старик больше ни разу не побеспокоил женщину... Пусть она побудет на могиле своего сына столько, сколько ей нужно. К тому времени, когда она показалась из камыша, он, сидя на скамейке у сторожки, уже заканчивал обшивать резиной и второй валенок. Хорошей бропей одевались валенки от всякой мокрости и стужи, еще сезона два послужат своему хозяину, грея его безнадежно испорченные в фашистском плену ревматические ноги.

Появившись из чащи камыша, женщина подняла с земли под вербой свою сумку и, когда проходила внизу по дороге мимо сторожа, продолжая свой путь в хутор, на минуту остановилась за плетнем. Из-за плетня старику только и видна была ее голова в очках, в соломенной серенькой шляпке. Он рассмотрел, что глаза у нее за стеклами очков сухие.

— А вы не можете указать то место,— спросила женщина,— где убили... — она помедила,— этого разведчика в хуторе?

— Его убили у Табунщиковых во дворе,— сказал он и поспешил добавить: — Но это я слыхал от людей. Лично меня тогда здесь не было.

— Но, может быть, вы слышали, кто его видел... — она снова помедлила,— в последний раз перед смертью?

И тогда, повинуясь чувству, властно повелевающему ему направить эту безутешную мать к той, которая, вероятно, уже решила, что она ушла от возмездия за свое неслыханное злодеяние, старик почти прокричал в ответ, перекрикивая удода:

— Как войдете в хутор, спросите в крайнем доме с желтыми ставнями Табунщикову Варвару. Она знает.

Через час он взял в сторожке ведро и, как всегда делал

в это время, пошел к колодцу набрать воды на ночь. Ночью приходится все время неутомимо шнырять из края в край колхозного сада, спугивая мелких воришек и крупных воров, которые покушаются на виноград, и некогда даже бывает сбегать с ведром к колодцу. А душными ночами, да еще когда так натянуты больные стариковские нервы, пить особенно хочется.

Набрав воды и уже возвращаясь обратно, он по привычке скользнул взглядом по солдатской могиле и удивился. С утра она была зеленая, вся в пушистой траве, а теперь вдруг стала серой и словно бы блестела. Он поставил на землю ведро и подошел ближе, присматриваясь своими старческими глазами. Лишь тогда он все понял.

В это осеннее время только и не отцвел еще на суглинистых склонах правого берега Дона один-единственный, с блестящими сиреневыми лепестками цветок бессмертник. Вот эта женщина и насобирала этих цветов поблизости на склоне, чтобы убрать ими могилу своего сына. Неяркими цветами она осыпала ее, но зато могла быть твердо уверена, что они долго еще не завянут. Даже и тогда, когда уже пожелтеет вокруг вся трава и заморозками посбивает последнюю листву с деревьев.

Уже перед самым вечером в дом к Табунщиковым постучали. Варвара открыла и остановилась на пороге, не пропуская в дом незнакомую, примерно одних лет с нею, женщину с большими глазами за толстыми стеклами очков. И всегда, кто только ни идет от парохода берегом в хутор, просится на ночлег, потому что дом Табунщиковых в хуторе крайний. Как будто мало поблизости других домов! Но и Варвара давно умела отваживать таких гостей. Научилась.

— Здравствуйте,— сказала незнакомая женщина.

— Ну и дальше что? — с приветливостью, не оставляющей сомнений относительно гостеприимности хозяев этого дома, ответила Варвара.

Но женщине, казалось, не было никакого дела до ее тона:

— Здесь живет Табунщикова Варвара?

На этот раз Варвара немного помедлила с ответом. Странные были у этой незнакомой женщины глаза. То ли потому, что стекла очков так увеличивали их, казалось, что из этих серых больших глаз и состояло все ее лицо и взглядом своим они втягивали человека в себя, как втягивает глубокая воронка посреди Дона. И самое странное, что Варваре показал-

ся чем-то знакомым этот взгляд, хотя она твердо знала, что встречается с ним впервые в жизни.

— А зачем она вам? — все с той же, если не с большей, холодностью ответила она вопросом на вопрос женщины.

Женщина пояснила:

— Говорят, у нее во дворе убили моего сына, и я хотела у нее спросить...

Две серые воронки за стеклами очков, потемнев, с бешеной скоростью закружились перед лицом Варвары и потянули ее в свою беспощадную глубину. Она уже узнала.

— Нет! — крикнула она, отступая от этой маленькой женщины в очках. — Ничего я не знаю! Нет!!

Ольга с мужем Дмитрием одновременно выскочили с другой половины дома на душераздирающий крик матери. Варвара пятилась от порога и, запрокидываясь всем корпусом назад, отталкивала незнакомую старую женщину, которая хотела удержать ее за руки, чтобы она не упала. Женщина пыталась подхватить ее, но Варвара, падая, отбрасывала от себя ее руки. И если бы не Ольга с мужем, этой маленькой женщине в очках ни за что бы не удержать разбитую внезапным параличом Варвару.

И с этого дня жизнь в семье у Табунщиковых перестала быть похожей на жизнь. Прошлое постучалось к ним в дверь кулачком этой старой женщины в очках, матери разведчика, похороненного в садах, и эхо стука услышали все другие люди. От сторожа виноградного сада Сулина в хуторе узнали, что на могилу к разведчику приезжала его мать и что оттуда она направилась к дому Табунщиковых. Видели после ее и на другой окраине хутора, когда она спрашивала дорогу на племсовхоз, где лежал в братской могиле второй ее сын, застреленный, как и первый, Павлом Табунщиковым.

И все, что уже начало затягиваться тиной времени, все опять всколыхнулось и вспомнилось людям. Теперь и соседка Табунщиковых снова твердо вспомнила, что не почудилось ей тогда, а своими глазами видела она, как Варвара ткнула пальцем через плечо на сарай, где прятался разведчик. И соседка, плача, говорила, что она готова подтвердить свои слова перед кем угодно и где угодно.

Но не станут же судить ту, которая и без того уже была наказана. Лежит на постели, как бревно, только и шевелит руками сверху одеяла, как будто что-то вяжет. Ее дочка

Ольга выговорила себе у директора совхоза через день ходить на работу, чтобы ухаживать за больной матерью. Жизнь Ольги стала совсем невыносимой. Правда, Дмитрий, после того, как ему сделали внушение в милиции, спрятал свои кулаки в карманы. И даже после того, как посмеются над ним по пьянке злоязычные приятели, что он выносит горшки за своей тещей, па которую и поганой веревки жалко, он придет домой, сядет на стул в углу и молча смотрит в тот угол, где лежит Варвара. Телефон сослужил свою службу.

Но и забыть он не может Ольге, что она жаловалась на него. Получается, что так она его и в тюрьму засадить может. А всегда шептала по ночам, осыпая его грудь сухими, горячими поцелуями, что он у нее самый красивенький на весь хутор, другого такого нет. И из-за кого же теперь она согласна запрятать его в тюрьму? Из-за своей матери, которая не имеет даже права называться матерью. Какая она мать?.. Волчица.

И вот теперь он должен молча смотреть, как Ольга, его жена, ухаживает за ней, кормит ее с ложки и выполняет ее капризы. Дмитрий не выдерживал и, хлопая дверью, уходил к своим приятелям, оставляя жену наедине с ее матерью. Пусть кормит с ложки, так ей и надо.

А Варвара, после того как паралич уложил ее в постель, есть стала столько, что Ольга не могла на нее наготовиться. Только что накормит и уже снова слышит:

— Ты бы мне, дочушка, пирожочков спекла.

— Вы же, мама, десять штук съели.

— Это когда?

— Только что. Со сметаной. И три яичка.

— А ты еще дай. Дюже большой грех считать куски у родной матери.

Отнесет ей Ольга в угол еще тарелку пирожков и вскоре опять слышит:

— Чего бы, чадунюшка, поесть, а? Там вчерашнего борща не осталось?

— Вам же, мама, плохо будет.

— А ты налей. Плохо будет, если люди скажут, что ты меня голодом моришь.

Наконец наестся на какое-то время и требует, чтобы Ольга читала ей Жоркины письма из тайги, из ссылки. Этого Ольга не любила больше всего:

— Я вам, мама, их уже десять раз перечитывала. Они все потерлись.

— Язык не отсохнет. Родной брат у тебя один остался.

Это совсем выводило Ольгу из себя.

— Не буду я вам их читать! Нет у меня никакого брата! — кричала она и выбегала во двор.

Но тут же вскоре и возвращалась, потому что боялась оставлять мать одну, без присмотра. Мало ли что ей нужно!

Жорка то регулярно писал матери из тайги, а то наглухо замолчал. Не стали приходить в дом к Табунщиковым конверты, из которых иногда выпадали и маленькие слепенькие фотокарточки. Все длиннее у Жорки отрастала черная борода, и все больше напоминал он Варваре его отца, вот так же сосланного четверть века назад в тайгу.

Замолчал Жорка. То ли и его придавило деревом, как отца, то ли задним числом кинулась Советская власть и рассудила, что за его службу в полиции при немцах слишком маленькую заплатил он цену. Дмитрий выписывал домой областную газету «Молот» и никогда не упускал случая прочитать вслух жене и ее матери, как искали и находили по стране в тайге и в других местах бывших полицаев, власовцев — карателей и других палачей и судили их за нераскрытые по горячим следам дела. Медленно и со вкусом читал Дмитрий об этом бледной, как стена, Ольге и ее матери и, поднимая от газеты светлые беспощадные глаза, никогда не забывал присовокупить:

— И так оно будет каждому, у кого руки в крови. Советская власть, она добрая — и даже немецким пленным офицерам, какие сражались с нами в полевом бою, не стала мстить, отпустила их домой, но всяких там карателей и прочих, кто купался тогда в крови, она не может простить. И пусть тот, кто тогда легко отделался, не надеется, что так он где-нибудь и доживет в своем затишке, сохранит жизнь. Они, эти подлые шкуры, и местожительство меняют, и бороды отпускают, и по чужим паспортам живут, но их все равно находят. И так каждого, кто думает, что про него уже забыли, найдут.

И с лица Варвары он переводил высветленные жестокостью глаза на лицо ее дочери, своей жены. Ольга, не выдержав его взгляда, уходила в спальню, падала грудью на кровать и глухо, надрывно плакала, забивая в рот угол подушки. Нет, она плакала не о своих братьях. Пусть они будут прокляты, эти ее страшные братья, каты и душегубы,

из-за которых погибло столько людей и она, не зная за собой никакой вины, стыдилась смотреть людям в глаза! Она еще больше проклинала их и потому, что оказалась так непоправимо испорченной ее молодая жизнь с Дмитрием. А ведь она так любила его и еще любит, несмотря на то, что его как будто подменили и он давно уже стал не таким веселым и ласковым, каким был раньше, а каким-то злым и жестоким. Несмотря даже на то, что он так казнит ее словами, когда напьется пьяный. Правда, на другой день он бывает сам не свой, все время ходит вокруг нее виноватый и жалкий, а по ночам просит, чтобы она простила, что он в последний раз, он и сам не рад тому, что с ним происходит. И несколько дней он бывает совсем, как прежний Дмитрий, а потом опять или газета попадется ему на глаза, или же на работе в совхозе посмеются над ним, что он бережет свою тещу, и все опять начинается снова.

Нет жизни, совсем не стало жизни в семье. Как будто черная туча все время висит над головой и заслоняет солнце. И как же Дмитрий не может понять, что Ольга никакой, ни самой маленькой частицы вины за своих братьев не может принять на себя! Она тогда была еще совсем девочкой. И вообще она всегда была с братьями, как чужая, они ей совсем чужды. И разве же Дмитрий не знает, какая она, ему ли не видеть, что она совсем другая, чем ее братья и мать. Если бы ей тогда было не одиннадцать лет, она бы, может, первая пошла в партизаны и уже тоже лежала бы в стволе шахты имени Красина, куда немцы и такие полицаи, как Павел с Жоркой, сбрасывали людей. Все это Дмитрий знает и чувствует лучше, чем кто-нибудь другой. За что же он так ее казнит и взглядами и словами, специально для нее читает вслух газеты, когда в них пишут про таких, как Павел с Жоркой, и измывается над ней, когда напьется с дружками пьяный? За мать? Но что же Ольге теперь с ней сделать? Удушить или же подсыпать ей в пищу что-нибудь такое, отчего умирают люди...

И отойти от нее нельзя ни на шаг. Сразу кричит:

— Ольга, игде ты? Сиди возле больной матери.

Ольга из сил выбивается:

— Мама, дайте хоть поспать трошки.

— Я не сплю, и ты не спи,— отвечает Варвара.

Иногда Ольга, думая, что мать задремала, отлучится ненадолго во двор по хозяйству и тут же бегом возвращается в дом, услышав исступленный крик матери:

— Уйди! Уйди-и!

— Мама, на кого вы? — с недоумением спрашивает Ольга, твердо зная, что никого, кроме нее и матери, нет сейчас во всем доме.

— Ольга, чадунюшка моя, прогони его,— шепчет мать умоляющим голосом.

— Кого, мама?

— Его,— шепчет Варвара и, приподнимая голову на подушках, протягивает руки в угол комнаты.— Прогони его, дочушка.

— Никого, мама, тут нет,— твердо говорит Ольга.

Мать долго не верит, жалобно переспрашивая:

— Правда, нет?

— Правда, мама. Бросьте свои глупости.

Проходит некоторое время, и Варвара снова переспрашивает:

— И там в углу никого нет?

— Никого, мама, во всем доме. Мы одни.

Варвара начинает умолять ее:

— Не оставляй меня, дочушка, одну. Никогда не оставляй, ладно?

— А кто же за меня, мама, будет в совхозе работать?

— Пускай Митька работает, он здоровый, как бугай,— уговаривает Варвара дочь.— Он тебе муж и должен тебя кормить. Пусть спасибо скажет, что ты за него, кацапа, замуж пошла. И твою родную мать он по советскому закону обязан до смерти кормить.

— По закону вас обязаны кормить ваши дети.

— Ну тогда скажи ему, пусть он вертается в свою кацапию и поищет там себе другую жену. Пускай поищет, чтобы она была лучше казачки. Ты у меня, дочушка, красивая, видная, ты себе цену не сбавляй и ему не поддавайся. На тебя любой начальник польстится. Начальники, они казачек любят.

Ольга сердилась:

— Помолчите, мама. Откуда вы все знаете? Лежите тут в своем кутке и все чисто знаете. Все это брехня.

— Я, Олюшка, знаю, я знаю,— загадочно говорила Варвара, и слабое подобие улыбки пробегало по ее обескровленным губам.

В эти минуты что-то страшное поднималось у Ольги со дна души, и она, сама содрогаясь своих мыслей, думала: «Чтоб ты скорее сдохла, старая ведьма! Всю кровь из меня выпила. Я при тебе, как в тюрьме. Чтоб тебе почаще этот мертвый разведчик из угла являлся. Может, он из тебя скорее душу вытряхнет».

В довершение ко всему мать погибших разведчиков поездила из города на могилы своих сыновей в хутор и в племсовхоз и решила навсегда поселиться в Вербном. Отсюда ей близко до обоих сыновей. И на пятьдесят рублей учительской пенсии здесь легче прожить.

Живет она в доме у сторожа виноградного сада Сулина. И каждый раз, когда она идет через хутор на могилу своего младшего сына, она проходит мимо дома Варвары Табунщиковой. Другой дороги здесь нет.

ВОЗВРАТА НЕТ

С какого бы места ни взглянуть, отовсюду можно увидеть этот яр с его суглинистой красной грудью. И с правого берега, когда объезжаешь донскую петлю по верхней, степной дороге, а он с отножинами как будто раскрылатился над Задоньем. И с левого, низменного, берега, когда из-под перьев полыни, из нор, изрывших суглинок яра, то и дело выметываются щуры на перехват пчел, летающих из степи через Дон за взятком. Так и норовят прервать эту золотистую нить, сотканную пчелами между берегами.

А когда обледеневает полынь, забрызганная водой из коловерти, никогда не замерзающей под яром, он со своей взъерошенной грудью и совсем может напомнить какую-то большую птицу, зазимовавшую на слиянии Северского Донца с Доном. С наступлением же весны ее перья опять будет кровавить исподнизу фарватерный бакен.

Когда Антонина Каширина рассказывала на районной конференции, какими еще иногда путями приходится председателям колхозов добывать стройматериалы и как, например, ей самой пришлось убегать на грузовике с крепежным лесом из-под огня милицейского кордона, выставленного между городом Шахты и придонскими хуторами, секретарь райкома Неверов, от души посмеявшись вместе со всеми над этим приключением и протирая клетчатым платком запотевшие стекла очков, принародно подтвердил:

— Скажи спасибо, что не подстрелили тогда, а то бы нам теперь пришлось тебя из партии исключать. Но, как говорится, не пойманный — не вор, а победителей не судят. Зернохранилище вы из этого леса отгрохали на весь район.

И он первый зааплодировал ей, высоко поднимая над столом президиума руки, когда она сходила со сцены на свое место в зале клуба.

Но через месяц он же не замедлил вынести на бюро

райкома ее персональное дело, когда из области поступил запрос, до каких это пор райком будет закрывать глаза на неблаговидные действия и недавнее темное прошлое председателя бирючинского колхоза Кашириной. Среди тех двухсот сорока трех делегатов районной конференции, что до слез смеялись тогда, слушая ее чистосердечный рассказ о злоключениях с лесом, оказалось, нашелся и тот, кто смеялся вместе со всеми только для вида. Теперь Неверов говорил на заседании бюро райкома:

— Мы тогда не имели точных данных, что это был действительно краденый крепежный лес, а теперь у нас есть неопровержимые доказательства, и это меняет все дело.

Он говорил это, не вынимая свою трубку изо рта, и, видимо, потому речь его была не совсем внятной. Каширина не смогла удержаться от возгласа:

— Но я же сама, Павел Иванович, об этом рассказала!

Вынув трубку изо рта, Неверов постучал ею по стеклу на столе:

— У тебя, Каширина, еще будет время высказаться. В том числе и о том, как ты, еще будучи бригадиром, эвакуировала колхозный скот.

Ее удивление еще больше возросло:

— И про это, Павел Иванович, все в районе знают. Сразу же за Донцом нас отрезали танки.

Склонив набок черноволосую, с сединой, голову, Неверов, выбивая из своей трубки пепел, вслушивался в щелканье трубки по настольному стеклу:

— И колхозное стадо чуть не попало в руки к врагу.

— Нет, Павел Иванович, мы схоронили коров в лесу. Ни одна не попала.

— Но могли попасть. В конце концов, это почти одно и то же.— Натолкав пальцем в гнездышко трубки табак и закурив, Неверов окутался облаком дыма.— Удивительный ты, Каширина, человек. Если тебя послушать, так и то, что ты оставалась на оккупированной территории, тоже был высокопатриотический акт.

Павел Иванович Неверов говорил все это своим тихим голосом. Он никогда на людей не кричал и тем не менее в районе считали, что у него есть хватка. Теперь Каширина явственно почувствовала ее.

— Я же, Павел Иванович, не одна...

— И немцы так и не смогли узнать в вашем хуторе, что ты кандидат партии?..

— У нас в хуторе, Павел Иванович, предателей не было.

— И это в казачьем хуторе?

На этот вопрос она не ответила, и Неверов продолжал спрашивать:

— А между тем, если не ошибаюсь, в твоем доме располагался чуть ли не их штаб? Во всяком случае, жил какой-то высокий чин со своим денщиком. По крайней мере, этого ты не станешь отрицать?

— Они, Павел Иванович, у нас не спрашивались, где им жить.

— А ты не гордись,— по-отечески пожурил ее Неверов.— Гордыня твоя здесь не поможет. Перед партией надо чистосердечный ответ держать. У тебя же получается стечение странных случайностей. Задание райкома по эвакуации коров не выполнила, потому что танки отрезали. Немецкий штаб у тебя в доме — тоже по игре случая. И при этом ни единая душа не намекнула им о твоей принадлежности к партии.— Неверов вынул изо рта трубку и обвел членов бюро взглядом: — И это-то, товарищи, не в каком-нибудь ином, а в казачьем хуторе?!

Члены бюро потупились. Лишь тезка Кашириной, второй секретарь райкома Антонина Ивановна Короткова, возразила:

— Насчет казаков, Павел Иванович, это вы напрасно. Я вам просто удивляюсь — это явно устаревший взгляд. Как мы теперь убедились, у немцев с казаками так ничего и не вышло.

— Ты по существу, — покуривая трубочку, заметил ей Неверов.

На смуглое лицо Антонины Ивановны Коротковой набежала тень. Она встала, одергивая серую вязаную кофту на широких бедрах. За прямоту ее уважали в районе и побаивались.

— Я по существу и говорю, что и в вопросе с Кашириной с вами не согласна. Как будто мы ее знаем один день.

— В том-то и дело, Антонина Ивановна, что оказывается, не всё знали.

Она откинула со лба густые темные волосы:

— Но я хорошо знаю, что другого такого предколхоза у нас в районе больше нет. А на подобные преступления со стройматериалами мы сами же председателей и толкаем. Да еще и радуемся публично: победителей не судят.

Неверов слегка покраснел:

— И тем не менее из обкома...

— А мы уже сразу и испугались. И давай на одного человека все вешать. Знаем, что немцы на переправе отреза-

ли весь наш скот, а Каширина одна отвечай. То же самое и со штабом. Да у нее же самый лучший в хуторе кирпичный дом. Мы сами ее до войны как знатного виноградаря премировали. И если тут сама Каширина о себе молчит, то я вынуждена сообщить членам бюро тот факт, что у нее па подворье скрывался при немцах наш раненый лейтенант.

Неверов выпустил из трубки клуб желтого дыма:

— Если есть факт, то должны быть и доказательства. Его кто-нибудь видел?

— По-моему, нет. Она его выходила, и потом он решил пробраться к своим через фронт.

— Странно.

— Ничего странного в зтом нет. Не могла же она всем в хуторе рассказывать, что у нее прячется раненый лейтенант. Если он потом остался живой, то, может быть, еще и объявится, напишет. А может быть, уже написал? — И Короткова повернулась к своей тезке: — Каширина Антонина, ты почему молчишь? Сейчас ведь решается твоя судьба...

Если бы Короткова не произнесла зтих слов о лейтенанте, которого Каширипа прятала у себя па подворье, то, может быть, и не произошло на заседании бюро райкома того, в чем она потом всегда раскаивалась и только из гордости не хотела в зтом признаться. Нет, с того самого дпя, как он ночью ушел, даже не простившись с нею, она ничего о нем не знает и он не написал ей ни строчки. Или его пет в живых, или... И слова сочувствующей ей Коротковой упали на самое больное место. Никогда и ни с кем она не говорила об этом, за исключением того давпего случая, когда Короткова приезжала в командировку к ним в колхоз, и Антонина в порыве внезапной откровенности показала ей в углу сада ту яму под гребешком яра, где опа прятала раненого лейтепанта. И теперь, после слов Коротковой, все сразу вдруг опять нахлынуло на нее, и ей представилась вся беспочвенность ее надежд и ожиданий. А Неверов, покуривая свою трубочку, смотрел на нее:

— Странно.

Действительпо, страппо и нелепо было с ее стороны все зти годы чего-то еще ждать, па что-то надеяться. И натянутые до предела струпы души уже не смогли всего этого выдержать. Ни той вопиющей песправедливости, с которой здесь обходился с пей Неверов. Ни мгновенного осознания всеми обострившимися чувствами того, что впереди у нее ничего уже нет, и все ее затаенные надежды — это, в сущ-

ности, прах и тлен. Ничто, конечно, уже не сбудется, не может сбыться. Поздно.

Неверов с недоверчивой понимающей улыбочкой смотрел на нее, повторяя:

— Странно...

Так нет же, не дождаться ему, чтобы она сейчас открыла ему свое измученное сердце. Даже если от этого и зависит ее судьба. Все, что произошло на бюро райкома в дальнейшем, Антонина всегда вспоминала, как неясный, дурной сон. И лишь с отчетливой яркостью она помнила всегда, как вдруг у Неверова вытянулось лицо и отвисла в углу рта трубка, когда она, выхватив из-за лифчика завернутую в платочек кандидатскую карточку, кинула ее перед ним на стол: «Нате! Исключайте, мне теперь все равно!» Напрасно Короткова испуганно уговаривала ее: «Антонина, что ты делаешь? Опомнись! — И при этом пыталась всунуть карточку обратно ей в руки.— Антонина, возьми, ты потом сама же будешь жалеть!» Но тут уже Неверов после первого потрясения пришел в себя, лицо у него почернело, и он, вставая из-за стола, закричал на Короткову: «Нет уж, извините, карточку мы ей не вернем! Мы никому не позволим глумиться над партией!»

Антонина не помнила, как она повернулась и выбежала из райкома на станичную площадь, где стояла ее запряженная в бедарку лошадь. Не запомнила и того, как отвязывала ее от ствола акации. Из всего потом — не столько в ушах, сколько в сердце — остался стук копыт лошади, которая сама с приспущенными вожжами должна была отыскивать себе дорогу от районной станицы до их хутора. И чем дальше увозила ее бедарка вперед по степи, к ее дому на яру, распростершему свои отножины над Задоньем, тем все глубже в своих мыслях уносилась она назад вместе с отлетающей под колесами дорогой.

При отступлении наших войск от Ростова к Сталинграду летом 1942 года остался на подворье у Антонины Кашириной тяжело раненный командир той самой артбатареи, которая прикрывала своим огнем с яра подходы к переправе через Дон. После того как чья-то рука перерубила ночью зубилом трос парома, единственно еще и соединявшего правый берег с левым, ничего иного не оставалось артиллеристам, как с раската на руках сбросить орудия с яра в воду и самим вплавь, придерживаясь батарейных лошадей, переправляться

на займище. И хоть бы еще какой-нибудь плохонький баркас остался под рукой — все уже угнали на левый берег солдаты других отступающих частей и гражданские беженцы.

Но и пристрелить своего раненого командира, как на том сам он настаивал, когда приходил в память, ни у кого не поднялась рука. С лейтенантом Никитиным батарея с боями отступала от самой румынской границы. И теперь вынужденно оставляя его на попечение хозяйки того самого подворья, где располагалась батарея, политрук сурово предупреждал ее:

— Смотри, красавица, этим же самым путем мы будем возвращаться. Вашего хутора никак не минуем. Сумеешь нам нашего командира сберечь — честь тебе и хвала и, может, даже к медали или ордену тебя представим, а не сбережешь...— Он выразительно дотронулся рукой до кобуры своего ТТ.

— Ни медали, ни ордена твоего мне не надо, и не грози ты мне, пожалуйста, политрук, — склоняясь над раненым лейтенантом, отвечала хозяйка подворья, рослая казачка лет тридцати с небольшим.— Лучше помоги мне его скорей тут в одно место перенести. И оставь мне побольше бинтов с ватой. А чем этой штукой меня пугать, ты бы попугал ею немцев.

— Я же это в шутку,— заискивающе сказал политрук.

Если б не безвыходное положение, ни за что бы не позволил он себе бросить своего боевого товарища на произвол судьбы. Тем более что хутор, где приходилось его оставлять, был казачий. А политрук, сам из орловских, давно слыхал, не раз видел в кино и твердо уверовал, что на казаков в таких случаях нельзя положиться. И хотя бы расспросить можно было у кого-нибудь, что за человек эта смуглая, красивая казачка: все люди, когда начался бой за хутор, куда-то разбежались и попрятались, как сквозь землю провалились. Сама же она оказалась не из словоохотливых, на все вопросы отвечала с не внушающей доверия односложностью:

— Колхозница.

— Рядовая? — пробовал допытаться у нее политрук.

— Теперь мы все стали рядовыми.

— А почему не эвакуировалась вместе со всеми? С колхозом?

— Кто-то должен и тут оставаться.

И когда политрук все же продолжал настаивать:

— А вот другие — и многосемейные, и больные — все

едут, не хотят под немца подпадать. А у тебя один только сын...

Она вдруг повернулась к нему с такой стремительностью, что он попятился:

— Ты меня не агитируй, я сама тебя сагитировать смогу. Ты бы лучше со своими пушками закрыл нас с коровами от танков, когда мы сунулись через Донец. Вы-то теперь пушки под яр покидали, и сами скоро за Дон стрекоча, а нам хоть с яра сигай.

Все это особенного доверия не внушало. И уже после того как орудийная прислуга переправилась под огнем немецких танков на левый берег, политрук батареи с бойцами еще долго выглядывали из молодых пушистых вербочек на то хуторское подворье на высоченном яру, где они оставили своего командира. Запоминая, внимательно рассматривали из-за Дона и большой, насаженный на самом яру сад, и кирпичной кладки хороший дом, краснеющий из кустов винограда. С трех сторон усадьба была обнесена глухим дощатым забором, а четвертой, незагороженной, обрывалась прямо в Дон.

Там, в глубокой выемке, из которой хозяйка этой усадьбы брала для своих домашних нужд красную глину, и лежал теперь их тяжело раненный в голову и грудь комбат Никитин.

Самым опасным оказалось не только то, что с появлением немцев в хуторе в доме у Кашириной сразу же поселились офицер с денщиком и ей с первого же дня пришлось подстерегать моменты, чтобы незаметно проскользнуть в угол сада к лейтенанту, но и то, что до них каждую минуту могли донестись его крики, когда он, опять впадая в беспамятство, начинал командовать:

— Бусоль... уровень... прицел... четыре снаряда... беглый огонь!!!

И он, как в клетке, начинал биться в выемке, без того тесной для его большого мужественного тела. Антонине, если это было при ней, приходилось своей ладонью задавливать его крики, а, уходя, связывать ему руки и ноги, чтобы он без нее как-нибудь не выкатился из ямы, не свалился с яра в Дон. Хорошо еще, что за всю неделю, пока он совсем не пришел в память, ни разу не задул из-за Дона обычный по этому времени «астраханец» и не донес его крики до дома. Иногда, правда, денщик офицера, Иоганн, беспокоился, по-

вернув в ту сторону голову и оттопырив рукой желтое ухо, но крики глохли в густой дерезе. И Антонина поднимала во дворе какой-нибудь шум: гремела ведрами или же, тяпая траву среди деревьев сада, вдруг запевала высоким голосом одну из своих женских казачьих песен, к великому удовольствию денщика Иоганна. Смеясь и хлопая в ладоши, он заказывал ей «Катюшу». Даже его начальник, майор, если он был дома, высовывался во двор из раскрытого окна, интересуясь.

И потом ей опять надо было ловить момент, чтобы, подхватив из-под виноградного куста сумку с харчами для лейтенанта, суметь прошмыгнуть под яр.

На вторую неделю, когда на ранней заре она спустилась к нему в яму, он встретил ее словами:

— Больше ты не связывай меня.— И тут же требовательно спросил: — А где мой пистолет?

И по его взгляду, мерцающему из полутьмы ямы, она поняла, что теперь уже может безбоязненно отдать ему и пистолет, и автомат с патронами, оставленные для него политруком и спрятанные ею в дерезе, вместе с большим артиллерийским биноклем на тонком ременном шнуре.

Этому биноклю он, кажется, обрадовался больше всего, потому что сразу же захотел взглянуть на тот берег Дона. Но тут же, едва приподнявшись на локте, рухнул обратно на матрац. Свежая кровь проступила у него сквозь бинт на груди.

— Гляди, опять свяжу,— перебинтовывая его, пригрозила Антонина.— Мне тут некогда с тобой возиться.

И, покоряясь, он пообещал ей совсем, как, случалось, ее тринадцатилетний Гришатка:

— Больше не буду.

Кроме индивидуальных санпакетов, собранных политруком со всей батареи и оставленных Антонине, у нее еще нашлись пузырек с йодом и коробочка с марганцем, и больше никаких лекарств. Надо было обойтись теми средствами, какими, бывало, обходились ее отец с матерью и сама она с детства: листом рашпиля, лучше которого ничто не могло так вытянуть жар и очистить рану, настоем травы вербочки, от которой густела кровь и затвердевали рубцы. Благо, что горшками с колючим рашпилем у нее всегда были заставлены подоконники, а вербочка сплошь кудрявилась по берегу Дона, стоило лишь спуститься с яра. Неплохо, конечно, было бы привести к лейтенанту с того края хутора бабку Иванчиху, умевшую заговаривать раны. Но нельзя было

понадеяться, что после этого она завяжет на узелок язык: к девяноста трем годам у нее уже не держали уторы.

Но было и свое преимущество в том, что у нее стояли такие квартиранты: никому в голову не могло прийти, что на том же самом подворье может прятаться советский лейтенант. И полицаи из района, братья Табунщиковы, регулярно наезжавшие в хутор, наводившие по дворам ревизию в поисках сбежавших из немецких лагерей военнопленных, предпочитали не сворачивать по травянистому проследку к ее дому, у которого почти всегда дежурил большой темно-синий «мерседес». Получалось, что под такой защитой можно было жить и чувствовать себя спокойно, если только уметь поостеречься своих же собственных квартирантов. В особенности, как выяснилось вскоре, денщика Иоганна, так и следующего за Антониной по пятам, откровенно обглядывающего ее бедра и грудь своими бесстыжими, без ресниц, глазами.

А ведь у нее были свои часы, которые ей никак нельзя было пропустить, чтобы вовремя и перевернуть с боку на бок все еще беспомощного лейтенанта, и перебинтовать его, и покормить куриным бульоном с ложечки, и помочь ему сделать то, с чем он без ее помощи еще долго не мог управляться.

Из всего, в чем он безропотно ей покорялся,— это, судя по всему, оказалось для него самым трудным. Всякий раз она чувствовала, как под ее прикосновениями все его тело начинает дрожать от отвращения, и он потом требовал от нее, отворачивая голову к стенке:

— Уйди!

Ей же — она сама себе удивлялась — все это ничуть не было неприятно, не говоря уже о том, чтобы противно. Несмотря на свою брезгливость, из-за которой ей еще в детстве перепадало от матери по затылку, когда она, как только пошла в школу, отказалась есть вместе со всеми из общей миски.

Почему же ей могло быть неприятно или даже противно, если кожа у лейтенанта была чистая и такая тонкая, что сквозь нее проступали голубые жилки. Нигде не порченная. И все тело, несмотря на жар, иссушающий его, не какое-нибудь дряблое, а совсем молодое. Ей только страшно жаль было, пусть и невольно, причинять ему боль, отдирая бинты, которые никак не хотели отставать от ран, хотя она и отмачивала их марганцовкой. Но так ни разу и не услышала она, чтобы он застонал или заругался. Только зернами пота покрывался лоб, и он прикрывал глаза, плотно прикусив

губу. Сразу же после этого он засыпал, по обыкновению, отвернув к стенке голову. Стружка рыжеватых волос, прилипшая к его лбу, светилась в темной яме. Она неслышно вытирала ему лицо и шею платочком. Ей приходилось и расчесывать его, пока он не стал сам поднимать руки.

Тогда он решительно стал отказываться и от всех других ее услуг. То отобрав у нее чайную ложечку, с которой она поила его бульоном, то перехватив своими пальцами ее руку с кружкой молока, а вскоре лишив ее и обязанностей регулярно обтирать его полотенцем, смоченным разбавленным водой виноградным спиртом. Хотя она и опасалась, как бы у него не появились пролежни, потому что ему еще трудно было всюду дотянуться руками. Но он настоял.

И только сбрить, лежа на спине, свою рыжеватую бороду, которой он успел обрасти за это время, ему так и не удалось опасной бритвой, да и темно было в яме. В конце концов он бросил свои попытки, присовокупив:

— С такой бородой в дороге еще лучше будет.

А когда она, не сразу поняв, переспросила:

— В какой дороге?

Он ответил на ее вопрос своим вопросом:

— Что ж, по-твоему, мне и зимовать придется в твоей яме?

Об этом она до сих пор не думала и не нашлась, что ему ответить, хотя ей и показалось, что он мог бы не говорить этих слов: «в твоей яме».

Но ведь и не обижаться же ей было на него, без того обиженного. Обреченного, вдали от своих товарищей, как волк, прятаться в этой темной и душной яме. На своей же земле.

Из-за денщика, не оставляющего ее в покое, у нее совсем не оставалось времени для разговоров с лейтенантом, и она могла позволить себе лишь обмениваться с ним короткими словами, когда наскоро перебинтовывала и кормила его. Она едва успевала на его вопросы отвечать:

— Ты своими глазами видела, когда они через Дон переплывали? Сама?

— Сама.

— И не накрыли их?

— Не должны бы накрыть, потому что с утра был туман.

— Но все-таки немцы заметили их?

— Когда они уже должны были к берегу подплывать.

— С лошадьми?

— С лошадьми.

— А кто же, по-твоему, мог на пароме трос перерубить?

— Из наших хуторских никто не мог. Я тут всех знаю.

Ей и самой хотелось кое о чем расспросить его, но он не давал слова вставить.

— Откуда ты знаешь, что офицер этот из докторов?

— От денщика.

Ложечка с бульоном лишь чуть-чуть вздрагивала у нее в руке, но он тут же осведомлялся:

— Ты что?

— Ты бы меньше разговаривал, а больше ел,— с досадой выговаривала она ему.

— Я уже наелся. С твоего бульона у меня тут скоро горло жиром заплывет.— И тут же продолжал свой допрос: — Разве он по-русски знает?

— Не очень, но понять можно.

— И что же он еще говорил?

— Это он только когда налакается пьяный, а так все больше молчком,— отвечала она, сосредоточенно обматывая бинтом ему грудь, пробитую осколком.

— Еще нехватало тебе его вином поить.

— Вчера он говорил, что скоро они должны Сталинград взять.

— Ну, этот орешек им не по зубам.

И после этого он надолго замолкал, отвернув голову к глиняной стенке ямы.

Вскоре уже она не смогла запретить ему вылезать из ямы, и, не считая ночи, он теперь все время проводил наверху, лежа на животе в дерезе и внимательно рассматривая в свой бинокль правый и левый берега Дона. Как-то и ей он дал глянуть в бинокль. От неожиданности она чуть не вскрикнула, вдруг увидев прямо перед собой проросшие сквозь белопесчаный откос красноватые корни левобережных тополей и верб, пьющих воду из Дона. А внизу, под стенкой яра, с такой сумасшедшей силой бурлила вода, что нельзя было смотреть, и она поспешила вернуть ему бинокль.

Как-то застала она его за тем, что он аккуратно раскладывал на припеке по краешку ямы огрызки хлеба.

— Это ты к чему?

Он усмехнулся:

— Сухари никогда не могут помешать.

Испугавшись, что он отрывает хлеб от себя, она предложила:

— Теперь я тебе буду больше хлеба приносить.

Он успокоил ее:

— У меня все равно остается. И вообще не положено разъедаться через край, чтобы развязывался пупок. Потом будет трудно отвыкать.

— У меня, слава богу, мука еще есть.

На что последовал немедленный ответ:

— Не век же мне тут на твоих харчах загорать.

В другой раз, когда она отыскала его в дерезе по обыкновению изучающим в бинокль берега Дона и луговое Задонье, он, повернув на шорох ее шагов голову, неожиданно поинтересовался:

— А Гришатка твой в какой уже класс ходил?

— В шестой, — ответила она, еще больше удивляясь тому, что такой ответ явно обрадовал его.

— Значит, у него где-нибудь учебник по географии должен быть. Ты, пожалуйста, поищи его для меня.

И когда на другой день она принесла ему этот Гришаткин учебник, он тотчас же раскрыл его перед собой в том месте, где вклеена была карта, и стал ползать своим артиллерийским биноклем по левому берегу, время от времени отрываясь, чтобы узнать у нее:

— Это просеку зачем прорубили через лес?

— Сено с займища возить.— И увидев, как светлые остья бровей тут же поползли у него кверху, она поспешила пояснить: — С заливного луга.

— А что это дальше за столбы?

— Там дорога.

— Ты когда-нибудь ездила по ней?

— Как-то в Сталинградскую область за племенным бугаем для колхоза, а оттуда гнала его пеши.

Он заметно оживился и попросил ее:

— Ты мне, пожалуйста, расскажи об этом подробнее. Какая там местность? Тоже все время только степь или же леса есть?

Еще с тех пор, когда его батарея располагалась у нее на подворье, запомнилось ей, что был он не из тех военных, у которых не обходится без заигрываний с их квартирными хозяйками, когда фронт перекатывается через новую местность. И теперь он ни разу не попытался затронуть ее, даже после того как от его ран уже не надо было отмачивать бинты марганцовкой. Лишь однажды, когда она пришла к нему, еще не остывшая после купания, которое устроила себе с Гришаткой в летней кухне в отсутствие своих постояльцев, вдруг смутил ее словами:

— А ты красивая...— И, продолжая смотреть на нее так,

будто увидел ее впервые, спросил: — Этот... офицер не пристает к тебе?

— Нет-нет! — с поспешностью ответила она.

— Правда?

— Да, правда,— испуганно заверила она, заметив, как вздрогнула его рука на траве рядом с автоматом, с которым он не расставался и тогда, когда вылезал наверх из ямы.

Хотя это была и не вся правда. Вопреки всем ее опасениям, связанным с появлением у нее в доме немецкого офицера, она вскоре убедилась, что его ей не надо бояться. Ей бы ни за что не догадаться об этом, если бы его денщик не намекнул как-то в приливе пьяной откровенности, что ее тринадцатилетнему сыну не стоит слишком часто попадаться на глаза майору.

— Чтобы он случайно не сделал из него свой маленький русский фрау.

И тут же, по ее лицу убеждаясь в ее полном невежестве на этот счет, денщик с удовольствием пояснил, хлопая себя ладонями по бокам и закукарекав так, что какой-то петух отозвался ему на другом краю хутора.

Она бы и после этого не поверила ему, если бы вскоре и сама не убедилась, что ее квартирант, молодой и по-женски красивый офицер, действительно смотрит на нее как на пустое место. Встречаясь в калитке или же где-нибудь в саду и с неизменной вежливостью уступая дорогу, он скользил куда-то поверх ее плеча отсутствующим взглядом. И, как все больше начинала убеждаться Антонина: не его ей следовало остерегаться, а в первую очередь того же денщика, Иоганна, который чем дальше, тем все откровеннее прицеливался к ней своими стоячими глазками из-под желтых, как придорожная колючка, бровей.

Первое время ей еще удавалось накачивать его с вечера виноградным вином со своего сада так, что он тут же и засыпал, и никакая сила не смогла бы его разбудить. Но вот уже и ее запасы стали подходить к концу, и тот, другой, хмель, от которого все больше багровой мутью наливались его глаза, как у племенного хряка на ферме, уже не полностью растворялся в вине. И сравнительно сдержанный в присутствии своего майора, в его отсутствие денщик становился особенно назойливым, не отставая от нее ни на шаг. Еще ни разу, правда, он не сделал попытки справиться с нею силой, может быть, и не надеясь на это, потому что она была женщиной рослой, сильной, но и не оставлял ее в покое. Ни на шаг не отступая ни тогда, когда

она готовила в летнице обед, ни тогда, когда полола траву меж виноградных кустов, ни даже тогда, когда спускалась с ведрами по воду к Дону. Уже и по ночам начинал бродить вокруг летницы, куда перебралась она с Гришаткой из дому, и не раз испытывал прочность двери, запираемой ею изнутри на большой деревянный засов.

И тогда Антонине пришлось пригрозить ему, что она пожалуется майору, которого, как успела заметить, денщик панически боялся. Скорее всего потому, что, как сам же и рассказывал ей, уезжал его майор каждый вечер на своем «мерседесе» не куда-нибудь, а в гестапо, где в его обязанности входило приводить в чувство партизан и пленных красноармейцев, когда они теряли на допросах память. Возвращаясь, майор обычно по целым дням просиживал перед зеркалом за бутылкой, время от времени чокаясь со своим двойником в зеркале, осушая одну за другой стопочки со шнапсом.

На какое-то время после ее угрозы Иоганн присмирел, но после того как опять стал ловить ее по куткам и она вынуждена была повторить свою угрозу, он вдруг заявил с ухмылкой на конопатом лице, что тоже может кое о чем рассказать майору.

— Например,— пояснил он, притиснув ее в сарае к стенке,— зачем ты варил в кастрюле на печке столько бинт, а я открыл крышка и посмотрел.

И, не давая ей опомниться от мгновенно подкосившего ее страха, он грубо воспользовался ее слабостью тут же, на ворохе соломы.

Не за себя так испугалась она. И когда потом пришла в себя, растерзанная на соломе, не столько тому содрогнулась, что с нею произошло, сколько той мысли, что теперь все может открыться. Она принялась уверять Иоганна, что бинты остались от проходившего через хутор госпиталя и теперь она решила постирать их на всякий случай.

— Меня пока не интересовал, где ты брал этот бинт, но завтра может интересовать,— великодушно успокоил ее Иоганн.

И перед этим «завтра» еще дальше отступило от нее то, что с ней произошло,— о себе ли теперь было думать?! Сегодня он еще ничего не знает, но завтра захочет узнать. Ей надо удвоить свою осторожность. Вот когда должен будет

пригодиться и тот, последний бочонок с ладанным вином, который она заложила в сарае дровами.

От ее ладанного Иоганн сразу же пришел в восторг, заявив, что оно нисколько не хуже рейнвейна. Но и накачать его с вечера этим вином так, чтобы он не просыпался до утра, теперь уже было не так-то просто. Он стал растягивать это удовольствие, закусывая каждый стакан вина ломтиком намазанного горчицей шпига, а поэтому и пьянел медленно, окончательно сваливаясь лишь после трех-четырех литров. Однако и после этого, прежде чем идти к лейтенанту, ожидающему ее в яме, Антонине надо было хорошо удостовериться, что денщик уже не проснется. Не пропустив и того предутреннего часа, когда требовалось разбудить его к возвращению майора с ночного промысла из станицы.

Еще и поэтому ей никак нельзя было задерживаться у лейтенанта чересчур долго.

— Посмотри, какую я ночью корягу вытянул на берег,— похвалился он ей однажды, показывая рукой под яр.

Заглянув туда, она ужаснулась:

— Сам?!

Он довольно рассмеялся:

— А кто же еще! Правда, большая. Но ты, когда по воду пойдешь, пожалуйста, еще больше ее подтяни, а то ее может течением сорвать. На это у меня пока силенки не хватило.— И он виновато улыбнулся.

С недоумением глядя на большую, с узловатыми корневищами корягу у подошвы яра, она спросила:

— Зачем она тебе?

В свою очередь удивился и он:

— Как — зачем? Мне, пока вода еще теплая, надо уходить. Иначе мне ни за что Дон не переплыть.

Она попробовала возразить:

— А может, Николай, тебе лучше тут дождаться, когда фронт начнет двигаться назад?..

И мгновенно осеклась, впервые увидев, каким чужим, даже враждебным, беспощадно-синим может быть его взгляд из-под белесых бровей.

— Примаком у тебя под подолом, да? Для этого ты тут и откармливаешь меня?

Она даже рукой заслонилась от него:

— Что ты, Николай!

И тут же, отведя ее руку своей, он заглянул ей в глаза:

— Ты прости, Антонина. Не могу я и дальше в этой яме от каждого шороха дрожать. Я ведь себе уже на всю дорогу сухарей насушил. Если до Сталинграда идти, то как раз мне должно будет хватить недели на две. А там я по голосам наших пушек через фронт проберусь.

Еще раз она попыталась разубедить его:

— Ты же совсем слабый еще, а под яром течение так и бьет, потому он всегда дрожит. Тебя под него может сразу затянуть.

Он с уверенностью усмехнулся:

— Зачем же я эту корягу причалил? Если с нею переплывать — не затянет. И если им захочется почью по Дону прожектором пошарить — под ней не видно. Мало ли коряг по течению плывет.— И, безошибочно читая у нее на лице обуревавшие ее чувства, успокоил: — Ты, пожалуйста, не бойся за меня, я от самой румынской границы через все реки на чем попало переправлялся. С пушками и без пушек. Ты пойми, Антонина, не могу я тут больше ни одного дня сидеть, пора уже мне прибиваться к своим. У нас на батарее даже конь, когда ему по колено оторвало ногу, на трех ногах все время пристраивался на свое место в упряжке.

И, глянув в его тоскующие синие-синие глаза, она поняла, что больше уже не следует его разубеждать. Все равно бесполезно. Тут же, впервые заглянув в самое себя, с пронзительной остротой почувствовала, что все это должно было для нее означать. Поняла и ужаснулась тому, какая ее ожидает потеря.

Это было нечто совсем иное, чем то, что испытывала она к своему покойному мужу. Теперь только начала понимать, что и замуж за него выходила скорее из благодарности за то, что именно на ней остановил свой взор этот серьезный, всеми уважаемый человек, о котором и в газетах писали, как о лучшем директоре МТС, в то время как она была почти совсем еще девочкой и ничуть не лучше своих подруг по бригаде из колхозного виноградного сада. Из благодарности она вышла за него замуж и жила хорошо, спокойно, в уверенности, что это и есть любовь. И когда перед самой войной он утонул, ушел вместе с машиной под лед, переправляясь с сеном через Дон, она горевала тем сильнее, что на руках у нее оставался сын, которого ей теперь без отца надо было поставить на ноги, вывести в люди.

Но только теперь, сравнивая, могла убедиться, что любовь — это нечто совсем другое. Это когда и в темной, глухой яме вдруг станет совсем светло. И это когда смешанный

запах окровавленных бинтов и мужского пота пронзает сердце, а память об унылых сиреневых лепестках колючей дерезы, в которой прячется яма, потом сопутствует, как память о лучших цветах в твоей жизни.

Но, когда однажды Никитин, теперь уже совсем окрепший, все-таки потянулся к ней, она решительно высвободилась из его рук:

— Нет, этого, Николай, не надо делать.

Он искренне удивился:

— Почему? Ты же свободная, и я свободен. И я ведь после войны все равно к тебе вернусь. Кто нам может помешать?

— Никто, Коля, не помешает. Вернешься, и оно от нас не уйдет. И тебе еще нельзя волноваться. Еще слабый ты.

И чего бы это ни стоило ей, она не уступила ему. Немыслимо было для нее прямо из грязных лап этого денщика переходить в его руки. Не хотелось с самого начала осквернять их любовь никакой, пусть и вынужденной, ложью. А там пройдет время и, может быть, смоет то, что не по ее вине прикипело к ней.

Между тем денщик в непоколебимой уверенности, что ей не могут не быть приятны его слова, высказывался:

— Теперь мне посчастливилось лично донской казачка узнавать.

И в той же уверенности окончательно переселился к ней в летнюю кухню. По его словам, он еще до этого имел возможность оценить русских женщин, и казалось бы, его уже не удивить. Но тут он удивлялся, как это Антонине с ее грубой крестьянской жизнью и работой удалось остаться такой... У его жены Анхен после рождения первого же ребенка грудь стала, как два мешочка, и от ног ее, больших и жестких, никуда нельзя было деться. Самые лучшие мази, на которые она тратила уйму денег, не могли перебить совсем мужского запаха ее кожи. Антонина, как он уже успел убедиться, совсем не прибегает к мазям...

И он принимался обнюхивать ее. От отвращения она проваливалась в беспамятство. Как если бы все это происходило не с ней, а с какой-то другой женщиной. Не ее, а кого-то другого распяли, и она смотрит на это со стороны. Может быть, только это и спасало ее. Ее поруганное, нечистое тело не принадлежало ей, жило отдельно от нее самой.

— Теперь я тебя еще больше стал уважать,— говорил Никитин, глядя на нее светящимися в полумраке ямы глазами.— Я обязательно к тебе, Тоня, вернусь, если, конечно, ты не будешь возражать.

Ей стоило больших усилий не уступить ему после этих слов. У нее жалко дрожали губы:

— Я-то, Коля, не буду, только бы ты остался живой.

У него блестела под отросшими за это время усами улыбка:

— Меня теперь никакое лихо не возьмет. Раз ты меня под самым носом у немцев сберегла, значит, я наверняка уцелею. От меня сама смерть должна будет отступиться. Теперь я, считай, от любой пули заговоренный.

Если бы только знала она, что ожидает ее уже на другой день после этого разговора. Когда она, как обычно, на самой ранней, еще зеленой, зорьке ускользнет из лап объятого мертвецким, пьяным сном денщика Иоганна и поспешит меж кустами виноградного сада все туда же, где по кромке яра колючей проволокой непролазно плелась и свивалась стеблями дереза, а из нее торчали рдяные головки татарника...

Если б могла знать, раздвигая руками колючие стебли дерезы и наклоняясь над ямой, что вдруг глянет и дохнет оттуда ей навстречу страшной, нежилой пустотой. И что нигде вокруг в дерезе, где обычно лежал он со своим биноклем, когда вылезал из ямы, не будет его. Напрасно станет искать она лихорадочно заметавшимся по сторонам взглядом. И, все еще отказываясь поверить, только после этого глянет под отвесную суглинистую стену яра, орошаемую снизу, из бурлящей коловерти, мельчайшими капельками воды, чтобы не увидеть на своем месте большой, накануне выловленной им из Дона коряги.

Из оцепенения вывел ее радостный возглас денщика за спиной:

— Так вот где я тебя, Антонина, находил. Ты, конечно, думал, что после твоего ладанного вина Иоганн будет младенчески отдыхать, но у него только один глаз спал, а другой смотрел, как ты яйки и пирожки в ведро собирал и куда-то носил. Ну-ка, давай показывать, для кого ты их собирать.

Он уже не ухмылялся, вцепившись ей пальцами в плечо и поворачивая к себе, чтобы заглянуть ей в глаза своими

стоячими, без ресниц, глазами. Внизу под ними, под крутизной яра, непереставаемо клокотала на слиянии струй Дона со струями Донца коловерть, разбрызгивая капли воды, окровавленные размытой красной глиной. Но, может быть, это и под лучами ранней зари так вспыхивали они.

— Теперь я буду лично узнавать, какой русский змея на своей собственной груди согревал,— говорил денщик, одной рукой все глубже впиваясь ей в плечо, а другой нашаривая у себя на боку кобуру с пистолетом.

Все свое отчаяние и всю уже испепелившую ее дотла ненависть вложила Антонина в один короткий и страшный толчок, и сама, качнувшись вперед, едва удержалась на кромке яра. С ужасом отшатываясь, только и успела увидеть, как, запрокидываясь назад, Иоганн судорожно хватался за колючие стебли дерезы, а они ускользали из его рук.

Больше ничего не увидела и не услышала она из-под яра.

Да и как же было услышать, если там и без этого все время булькала, клокотала коловерть, из которой, сколько она помнила себя, еще никому, кого затягивало под яр, не удавалось выплыть. Ни людям, ни быкам, когда они в этом месте переплывали через Дон на зеленое жирное займище.

Теперь только, пока еще не проснулся майор и не хватился своего денщика, надо было успеть все вынести из ямы, и вообще убрать все. Убрать и лопатой осыпать по краям ямы глину... Самая обыкновенная яма, из которой хозяйка, когда ей требуется, берет для своих домашних нужд красную глину. Вот и сегодня понадобилось ей обмазать, обновить снаружи давно облупившиеся стены летней кухни.

А за все остальное какой с нее может быть спрос? Мало ли, если этот денщик, на которого уже и сам начальник его, майор, смотрел, как на неисправимого алкоголика, мог заблудиться и даже свалиться с яра. Ничего странного, если и самому майору уже не раз приходилось отправлять его за пьянство в станицу, в ортскомендатуру на отсидку.

Судя по всему, после недолгих поисков своего денщика склонился к этому и майор. Тем более что через три дня труп Иоганна, раздувшийся и разбухший, но без единой царапины и вообще без каких-нибудь признаков насильственной смерти, в мундире и сапогах, полицаи братья Табунщиковы выловили из Дона у самого хутора Вербного, в полустах километрах по течению ниже Красного яра.

И тогда, когда волна фронта покатилась от Сталинграда обратно через Дон, она тщетно поджидала и выспрашивала о лейтенанте Никитине у артиллеристов всех проходивших через хутор батарей; и потом, когда фронт ушел уже на Запад, так и не пришло ответа на все ее запросы по номеру полевой почты, который она запомнила с его слов. Но, в сущности, и нельзя было ей на это обижаться, потому что ни женой она ему не была, ни сестрой, а просто одной из тех знакомых, что заводятся почти у всех военных там, где проходит фронт. И нечего было ей, раздвигая бурьяны в углу сада и заглядывая в темное отверстие ямы, все еще надеяться на что-то. Это ей только почудиться однажды могло, что из ямы вдруг как розовым солнцем блеснуло ей по глазам. А вообще-то там всегда было пусто, темно и глухо. И сама дереза, дичающая на яру, все гуще затягивающая яму, цвела безжизненно, тускло. Самая сорная из сорных трав. Если теперь взяться уничтожить ее, то надо уже не тяпкой, а топором.

Не дождалась она не то чтобы стука в калитку, а хотя бы какой-нибудь весточки от него и тогда, когда уже началось возвращение в станицы и хутора демобилизованных с фронта. Значит, и незачем было ей больше тешить себя, а наглухо завязать где-то в себе то, что теперь уже не должно было сбыться. Пусть и там оно зарастает дерезой. И, наглухо завязав это в себе, целиком посвятить себя тому, что вдруг неожиданно свалилось ей на плечи.

Сразу же после того как прошел через хутор фронт, избрали ее женщины председателем колхоза. В то самое наитруднейшее время, когда все еще дымилось, было разорено и сожжено, а по хуторам и станицам оставались одни только вдовы с детишками, и, чтобы вспахать землю под яровые, надо было приучать к ярму тех коров, которых не успели съесть и угнать с собой немцы.

Ничего в колхозе после них не осталось — ни доски, ни гвоздя, а надо было и восстанавливать и строить новое. Вот тогда-то, когда получили первый послевоенный урожай, а Неверов, пыхнув из своей трубочки прямо ей в лицо, сказал, что райком не лесная биржа, но если пшеница намокнет и погорит в буртах, то все равно у председателя колхоза голова с плеч,— тогда она и решилась. Выменяла на шахте за десяток бочек виноградного вина десять машин крепежного леса и сквозь выстрелы заградпостов прорыва-

лась по ночам из города в степь. Тогда и Неверов аплодировал ей громче всех, поднимая над головой руки и смеясь, когда она каялась на районной конференции.

— Они стреляют вдогон, а я Ваське кричу: «Жми на всю железку!» Так и езжу теперь с пробитым пулей стеклом. Если по правде, то меня за это надо из партии исключить.

Наклика́ла.

Всю дорогу из райцентра, с заседания бюро до самого хутора, Антонина так и ехала в бедарке, как во сне, с брошенными на колени вожжами. Очнулась только тогда, когда лошадь уже остановилась перед воротами дома. Сама нашла дорогу по вечерней степи.

Открывая калитку, как-то не удивилась и тому, что в окнах горит свет, хотя давно уже, со времени отъезда Гришатки в город, в техникум, некому было в ее доме, кроме нее самой, зажигать лампу. И только уже толкнув коленкой незапертую дверь из сенцев в дом, мгновенно пришла в себя. Зажмурилась, как от яркого света, заслоняясь ладонью и чувствуя, как дощатые половицы стремительно уходят у нее из-под ног куда-то вверх, в сторону.

— Что ты?! Что ты?! Это же я! — подхватывая ее, испуганно говорил Никитин.

— Ты?

— Ну да, я.

— Нет, это ты? — обвиснув у него на руках и не открывая глаз, переспрашивала она.

— А кто же еще? Может, ты кого-нибудь другого ждала? — смеясь и заглядывая ей в лицо, отвечал Никитин.— Я же сказал, что вернусь. Что же ты, Антонина, так дрожишь? Успокойся, Тоня, что с тобой?!

Она уже не слышала его.

Но и теперь она не могла допустить его до себя, так и не сняв со своих плеч давний и страшный груз...

После долгого и пугающего молчания он сказал чужим голосом:

— Бедная ты. Все из-за меня. Чем же я тебе смогу за все заплатить?

— Что ты, Коля, ты уже заплатил, что остался живой. И что не забыл меня,— плача, говорила она, счастливая и тем, что он все понял, простил, и тем, что на ее долю

выпала такая любовь, которая, оказывается, способна смыть все нечистое с тела и с души.

Она все смывает.

Никто не может знать наверняка, как завтра распорядится жизнь. Тот же Неверов, когда через неделю Никитин приехал в райком становиться на партийный учет, осведомился у него:

— Ну, и как же ты думаешь жить дальше, герой Отечественной войны?

У Никитина готового ответа на этот вопрос еще не было.

— Сперва бы надо освоиться, товарищ секретарь райкома.

— И долго же ты думаешь осваиваться, герой войны? Конечно, теперь тебе полагаются заслуженный отдых и почет, а кто же тогда, спрашивается, будет колхозы на ноги поднимать? Опять те же самые вдовы с малыми детьми?

Как-то так получалось у него, что Никитин, не чувствуя за собой никакой вины, уже оказался виноватым перед этими вдовами и детьми. Он запротестовал:

— Ничего такого я не думал и не говорил, товарищ секретарь.

Однако Неверов уже знал, как безошибочно действует этот психологический прием на бывших фронтовиков, и решил воспользоваться им до конца.

— Но то, что у нас теперь каждый мужчина ценится дороже золота, ты и сам должен хорошо понимать. Тем паче такой здоровый мужчина, как ты. Сейчас у нас повесь во дворе на веревку мужские штаны сушить — полрайона сбежится. Хочешь, мы тебя можем на самой красивой казачке женить?

Никитин сдержанно улыбнулся:

— За это спасибо, но я, товарищ секретарь...

— Уже успел? Вот это действительно герой. На ком же, если, конечно, не секрет.

— Есть тут у меня одна знакомая... Каширина Антонина.

Неверов полез рукой под стол за своей трубкой, которую он по давней привычке носил за голенищем сапога.

— Что ж, нельзя сказать, чтобы она в нашем районе из самых красивых была, но, во всяком случае, женщина видная и вообще...— Неверов описал в воздухе руками две волнообразные линии.— Мы тут, правда, недавно вынуждены были ею заниматься, но одно к другому не относится. Для твоей личной жизни это препятствием не может послужить. Может

быть, и перегнули, сам понимаешь, иногда обстановка диктует. Жаловалась, небось?

— Я, товарищ секретарь, от вас первого об этом узнаю.

Неверов блеснул очками:

— А! Гордая. Ты давно с нею знаком?

— Я у нее, раненый, от немцев скрывался.

Вынув изо рта трубку, Неверов стал ковырять в ее гнездышке спичкой:

— Это несколько меняет дело. Скажи ей, чтобы подала заявление, и мы свое решение об исключении ее из кандидатов партии, возможно, пересмотрим. Я говорю: воз-мож-но, потому что решаю, как ты должен понимать, не только я. Но все-таки председателем колхоза в любом случае мы ее не могли оставлять. Как-никак, у нее в доме размещался немецкий штаб. А для тебя, герой Отечественной войны, теперь появились еще и дополнительные основания пойти на этот колхоз.— И, откидываясь на спинку кресла, Неверов воркующе засмеялся.

У Никитина даже спина вспотела от его смеха. События развивались столь стремительно, что он окончательно растерялся:

— Какие, товарищ Неверов, основания? Куда пойти?

Обрывая смех, Неверов откачнулся от спинки кресла к столу:

— Ты и в боевой обстановке был такой же тугодум? Ты на фронте последнее время чем командовал?

— Артдивизионом.

— А председатель колхоза — это тот же командир полка, если не дивизии. В твоем колхозе после укрупнения будет восемь тысяч га одной только пшеницы, а всех угодий — тринадцать тысяч. С лугами и с виноградными садами.

Теперь только Никитина осенила догадка. Он взмолился:

— Да я же, товарищ Неверов, в сельском хозяйстве...

Но секретарь райкома Неверов взял свою трубку за чубук и пригвоздил его, как штыком:

— Не ты первый, все так говорят. Научишься, наберешься опыта. Испугался ответственности, тоже мне, герой Отечественной войны. Сейчас мы опросом примем решение бюро райкома, а на неделе проведем там собрание, и примешь от Кашириной ключи. Как говорится, из рук в руки. Она же тебя и в курс дела введет. Это теперь и для нее дело вашей семейной чести. Надеюсь, из-за этого не испортится ваш медовый месяц. Гордячка! Жену ты себе, герой, выбрал с характером на весь район.— Неверов повел, как от холода,

плечами и покрутил на столе ручку телефона: — Молчанов? А ты говорил, что подходящей кандидатуры на бирючинский колхоз нет. Надо райисполкому людей знать. Зайди-ка на пять минут.

В величайшем смущении и в растерянности вернулся Никитин из поездки в райцентр. Виновато отводя взгляд в сторону, рассказал Антонине о совсем неожиданном для него повороте разговора с Неверовым. Теперь Неверов был далеко и, не чувствуя на себе его насмешливо-испытующего взгляда и воздействия его слов, которые тот умел хитроумно расставить, как силки, загоняя в них человека, Никитин под конец своего рассказа совсем возмутился:

— Все равно этому не бывать! В обком поеду, до первого секретаря дойду. В наше время взять человека, который не умеет комбайна от трактора отличить, и послать его председателем в колхоз — да это же явное самодурство. Утром же еду в обком.

А сам все время избегал встречаться со взглядом Антонины. Ему было стыдно, как никогда еще в жизни. Вот как, оказывается, он мог заплатить ей за все то, что она сделала для него. За ее любовь. Все это было бы равносильно предательству, а он ни в бою, ни вообще в своей жизни никогда еще шкурником не был. И никакие Неверовы не заставят его отступиться от самого себя, стать другим человеком. Как бы он после этого стал смотреть в эти бесконечно преданные ему глаза? И как он мог допустить, чтобы его, фронтового командира, у которого у самого была под начальством не одна сотня людей — и в какой обстановке! — как мог позволить, чтобы его так обвел вокруг пальца этот хитрый черноволосый человек в очках, исподтишка посасывающий свою трубку?

— Не бывать! Какой из меня предколхоза? Курам на смех. Завтра же еду в обком и наотрез откажусь.

И впервые с облегчением он прямо взглянул в глаза Антонине.

Вопреки его ожиданию он не встретил у нее поддержки. Совсем наоборот. К его изумлению, она отнеслась ко всему совершенно иначе.

— И не подумай, Коля,— терпеливо выслушав его, решительно сказала она.— Тут Неверов тебе правильно сказал: готовых председателей не бывает. Если ты на фронте столькими людьми командовал, то с нашим колхозом справишься.

У нас в хуторе другого подходящего мужчины сейчас нету, одни старики да подростки. А женщины уже свое откомандовали, пора и на покой. Надо, Коля, и мне отдохнуть. Если ты еще из-за меня горячишься, то это зря. Это ты напрасно. Тебе сейчас не обо мне надо думать — о колхозе. И это же хорошо, что наш колхоз не в какие-нибудь чужие руки попадает. Это, Коля, очень хорошо. Еще прислали бы кого-нибудь вроде тереховского Черенкова, который еще до войны в нашем районе три колхоза до ручки довел и теперь четвертый пропивает. А мне и так и так с Неверовым не работать. Справишься, Коля, еще как справишься. Ты у меня смелый, вон, смотри, сколько у тебя всяких наград, а их кому зря не дадут.— Она дотронулась до его орденов и медалей.— На первых порах, если будет нужно, и я тебе, в чем смогу, помогу, а там ты и сам пойдешь, без моей подсказки.

Он ожидал, что она обидится, чувствовал себя виноватым перед ней, а она обрадовалась за него. И вся ее личная обида, что так несправедливо с нею обошлись, без остатка растворилась в любви к нему. Чем больше он смотрел на нее, тем больше удивлялся ей. Чем и как он отплатит ей? И любит ли он ее так же, как она его?..

Один раз только во время этого разговора она ненадолго потускнела:

— Но на отчетно-выборное собрание, Коля, когда тебя будут рекомендовать, я не пойду. На всех наших собраниях я всегда была, а тут мне нельзя идти. Ты меня прости. Если я на собрании буду сидеть, я могу всему помешать. У нас хутор дружный, казачий хутор, а тебя люди еще не знают. Если я приду на собрание, они тебя могут не выбрать.

Она ошиблась только наполовину. На собрании ее не было, но от этого страсти, три вечера подряд сотрясавшие стены тесного хуторского клуба, не стали менее бурными. И личное присутствие секретаря райкома Неверова не помогало, а как будто даже больше подливало масла в огонь. Едва Неверов, вставая со своего места за столом президиума и вынимая изо рта трубку, начинал говорить: «По рекомендации бюро райкома предлагаю избрать председателем колхоза имени Буденного...» — как зал, перебивая и заглушая его, разражался криками:

— Каширину!

— Антонину Ивановну!

— Приезжих захребетников нам не надо!

— Нам и с Кашириной хорошо!

Мрачнея, Неверов стоял под градом этих криков, и опять садился на свое место, втыкая в рот трубку, окутывался дымом. Зал похохатывал:

— Табаку не хватит.

— Настюра, сбегай принеси самосаду, у тебя много!

— Не-е, он самосад не потребляет!

— От него дух тяжелый!

— От кого?

— Тю, дура баба!

Перепадало и Никитину. Он не помнил, чтобы на фронте когда-нибудь чувствовал себя так же плохо, как под этим навесным огнем остроязычных хуторских казачек:

— Вот это у Антонины квартирант!

— Отблагодарил.

— Нет, он, видно, не по своей воле.

— Пасмурный сидит.

— Все они на готовое мастера.

И снова разламывались стены клуба:

— Не хотим ни военных, ни с орденами!

— Каширину!

— Антонину-у!!

Три вечера подряд начинали собрание, как только хуторские сады окутывали сумерки, и трижды расходились ни с чем, когда за Доном уже большим тюльпаном зацветала заря, распуская по небу лепестки лимонно-желтого и бледноалого света. Брехали по хутору собаки, горланили петухи, приветствуя рассвет.

Когда Никитин в это раннее время возвращался домой, Антонина ни о чем не спрашивала его. Ей достаточно было лишь взглянуть на его лицо. С каждым днем оно все больше темнело и как будто заострялось. Лежа на кровати, он смотрел прямо перед собой на потолок блестящими глазами. Однажды только она виновато положила ему голову на грудь:

— Бедный.

Ничего не сказав, он легонько отвернулся от нее.

На четвертый день Неверов сказал Никитину в правлении колхоза:

— Без присутствия твоей драгоценной супруги тут, как видно, не обойтись. Чувствуешь, как она весь колхоз прибрала к рукам? Прямо вождь народа в масштабе одного хутора. Придется нам еще этим заниматься. Иди и скажи ей, что как бывший кандидат партии она обязана партийную линию проводить в жизнь.

— Вы бы, товарищ Неверов, сами все это и сказали ей,— ответил Никитин.

Неверов замахал обеими руками:

— Ну, нет, это я не берусь. Она на меня особенно злая. Ты, Никитин, своей жены еще как следует не узнал: это с тобой она, должно быть, ласковая, а меня может и кочергой угостить.

— Нет, товарищ Неверов, она в этом вопросе, наоборот, на вашей стороне.

— Вот как? Она тебе сама сказала?

— Сама.

— Вот я и говорю, что на нее надеяться нельзя, еще неизвестно, какая ее через пять минут оса ужалит. Тебе она говорит одно, а меня увидит, и опять в ней может кровь взыграть. Казачки — они злые. А я по таким пустяковым поводам не намерен свой авторитет в районе подрывать. Как ты должен понимать, дело тут не только во мне. Еще до обкома дойдет. Нет, Никитин, тебе тут быть председателем, ты это дело и обеспечь. Демократия демократией, а по воле волн ее тоже нельзя пускать.

— Она, Павел Иванович, сказала, что не может на собрание пойти.

— А я что говорил: гордячка на весь район. Она тут из меня на пленумах и конференциях не одно ведро крови выцедила. Откровенно говоря, еле избавились. Не завидую я тебе, но это уже особый и твой личный вопрос. Я в него не вмешиваюсь, хотя, конечно, в наше время личных вопросов не бывает. Иди сейчас же к ней и считай, что ты выполняешь партийное поручение. За невыполнение партийного поручения, знаешь, что бывает? В данном случае это не твое семейное дело. Независимо ни от чего, наша задача нездоровые настроения сбить. Теперь для нас это уже вопрос принципа. Ступай, ступай. Какой же ты будешь герой Отечественной войны, если свою собственную женушку не сумеешь оседлать. А как же ты ночью... — И, увидев, как начинает меняться лицо Никитина, тут же выставил руку ладонью вперед: — Шучу, шучу. В общем, выполняй.

Легко ему было произнести «выполняй», а Никитину, получалось, надо было самому домогаться от нее, чтобы она своими же руками подсадила его на тот самый председательский стул, на котором до этого сидела сама. После всего того, как с нею обошлись.

У него скорее всего так и не повернулся бы язык начать с нею этот разговор, если бы она вдруг первая не начала его.

В тот же самый день, когда он пришел из правления домой па обед, она встретила его словами:

— Все-таки, Николай, я вижу, не миновать мне сегодня вечером на собрание идти.

И здесь он опять увидел ее совсем по-новому. Она вышла на край сцены в хуторском клубе, строгая, в хорошо сшитом синем костюме. В петлице жакета краснел цветок гвоздики. На лице у нее не было и следа той любящей готовности, которую уже привык видеть у нее Никитин.

Внимательно обвела глазами до отказа заполненный людьми зал небольшого клуба.

— Обрадовались дети, что матери дома нет,— сказала она совсем негромко, но каждое слово ее было отчетливо слышно — такая установилась тишина.— А в садах на лозах пусть несрезанный виноград гниет и в степи ветер зябь пашет. Должно быть, и правда, захотели себе в председатели Черенкова.— Она слегка повернула голову в сторону Неверова, укрывшегося при этих словах за пеленой дыма.— Вам, Павел Иванович, ничего не стоит эту просьбу уважить, пусть Черенков и наш колхоз пропьет.

— Ты, Каширина, поосторожней,— из-за дымовой завесы бросил Неверов.

Его слова потонули во всеобщем шуме:

— Не хотим Черенкова!

— Нам и со старым председателем хорошо!

— Никого нам больше не надо!

— Каширину хотим!

— Оставайся ты, Антонина!

До этого никакими способами нельзя было успокоить эту бурю в хуторском клубе, а ей стоило лишь повести рукой, чтобы опять стало так же тихо, как в степи в знойный полдень лета. В открытые окна доносилось гудение буксирного катера, огибающего Красный яр на выходе из Донца в Дон. Все взоры притягивал к себе цветок гвоздики в петлице Антонины.

— Во-первых, я уже не Каширина, а Никитина.— И, переждав прошелестевший по залу смешок, продолжала: — А во-вторых, и в председатели нашего колхоза райком рекомендует тоже Никитина.— Смех в клубе окреп и пошел гулять по рядам. Она вдруг низко поклонилась со сцены в зал: — За хорошее отношение спасибо, но я уже этого председательского портфеля натягалась, хватит. Теперь его

должен поносить тот, у кого силы побольше. Такие, как мы, женщины, еще были при всяких недостатках нужны, когда мы и на коровах пахали, а теперь будем на одних тракторах. И в мое положение вы тоже должны войти. Маленьким колхозом я еще могла командовать, а теперь вам и товарищ Неверов может сказать: наш колхоз будут вскорости укрупнять. В колхозе будет не три тысячи, а десять или двенадцать тысяч га.

Неверов подтвердил:

— Это вопрос предрешенный.

— И командир вам уже будет нужен совсем другой.

Впервые за все время она покосилась на Никитина. Он не мог оторвать взора от ее гвоздики, столь же яркой, пылающей, сколь бледным, почти совсем бескровным, сделалось лицо Антонины под конец ее речи в хуторском клубе.

Она кончила, и от тех же самых людей, которые все три дня бушевали в клубе, как вода в коловерти под яром, теперь, оказывается, можно было услышать совсем другое. Никитин с удивлением смотрел со сцены на лица тех же самых женщин и мужчин и не узнавал их. Особенно женщин. Поистине, люди самих себя не знают до конца. Всего за несколько минут как подменили их. И то, с чем Неверов не мог справиться три вечера подряд, вдруг оказалось достижимым.

У тех же самых хуторских женщин, которые до этого недвусмысленно прохаживались по поводу вопиющей неблагодарности Никитина, теперь нашлись для него другие слова:

— Это он у нее в яме с пробитой грудью лежал.

— Нет, Гришку Черенкова нам не нужно!

— Славного отхватила себе Антонина муженька!

— Эх, бабоньки, где бы и мне такого подцепить!

— Пойдем после собрания в той пещере поищем. Может, там другой остался.

— Раз Антонина говорит, значит, хуже не будет.

— Муж и жена — одна сатана.

— Ничего себе бугаина, в самый раз на укрупненный колхоз.

— Давайте голосовать. Мы уже на этих прениях прокисли.

— Еще правда Черенкова привезут.

Может быть, больше всего подействовала на людей эта угроза. Во всякое случае, когда Неверов снова вышел на край сцены и, вынимая изо рта трубку, начал: «По поруче-

нию бюро райкома партии рекомендую председателем вашего колхоза...» — ему договорить не дали:

— Знаем!

— Вот он, налицо!

— Голосовать!

Проголосовали единогласно. Лишь Антонина, не дождавшись конца голосования, сошла со сцены и, не оглядываясь, быстро пошла меж рядов к выходу.

— Ну и артистка у тебя жена,— прощаясь после собрания с Никитиным у машины, с восхищением говорил Неверов.— Сама же все подстроила, расписала по нотам и сама рассыпалась на собрании, как ни в чем не бывало. Ох, еще наплачешься ты с ней!.. — Неверов вдруг отшатнулся от Никитина, вплотную приблизившего к нему свое лицо.— Ого, да я вижу, как бы еще и тебе не пришлось обламывать рога.

И он захлопнул дверцу машины.

Еще недели через две, проезжая через хутор мимо яра и увидев возле колодца Антонину с ведрами, Неверов велел шоферу притормозить, высунулся из дверцы:

— А ты, Антонина Ивановна, тогда нам здорово на собрании помогла, молодец. Без твоего вмешательства нам бы, пожалуй, кандидатуру Никитина не удалось провести. Наверняка бы не удалось. Конечно, ты этим самым преследовала и свой собственный интерес, так сказать, укрепляла семейный фронт. Но все-таки партийная закваска у тебя есть. В общем, райком тобой доволен. Еще немного повремени, и, пожалуй, можно будет твое персональное дело пересмотреть. — И увидев, что Антонина, подцепив одно за другим с земли крючками коромысла полные ведра, молча повернулась к нему спиной и пошла к дому, он ткнул шофера в бок: — Езжай, езжай. Ты что, заснул за рулем?!

Однако и после еще долго не мог успокоиться взбудораженный хутор. Особенно неистовствовала та самая Настюра Шевцова, которая и на собрании громче всех кричала: «Нам чужих захребетников не нужно!.. Ни военных, ни с орденами!» Ни единого случая не упускала теперь, чтобы высказать свое неуважение к новому председателю, подчеркнуть пренебрежительное отношение к нему. Стоило Никитину, объезжая с утра бригады и фермы, заехать в коровник, когда дежурила там Настюра, как она, сразу же бросив

работу, садилась, заложив ногу за ногу, на скамейку у двери и, достав из кармана рабочего комбинезона пачку «Прибоя», начинала стаю за стаей выпускать из округленных губ колечки табачного дыма. Сколько бы Никитин ни находился на ферме, столько будет сидеть и, подрагивая ногой, считать уплывающие ввысь голубино-сизые призрачные колечки.

Чувствуя за всем этим вызов, он долго сдерживался, пока все же не взорвался.

— Что же это у тебя,— спросил он, уже на выходе из коровника задерживаясь около Настюры,— перекур тянется целый час?

Она пыхнула папиросой, проводив сощуренным взглядом новую стаю колечек:

— А мне некуда спешить.

— Голубей тренируешься запускать?

— Вот-вот, их самых. Могу, если пожелаете, и вас научить, дорого не возьму.— И, округляя бубличком накрашенные губы, она наглядно продемонстрировала, как это получается у нее.

— А коровы пусть стоят по титьки в грязи.

Не прерывая своего занятия, она спокойно сказала:

— Берите.

Никитин не понял:

— Чего?

— Лопату. Вон она в уголочке стоит. Покажите мне, как надо за коровами чистить навоз.

— И не стыдно тебе?

Настюра встала, бросая папиросу на землю и тщательно затаптывая ее ногой.

— Нисколечки. Вам же не стыдно было сперва к Антонине Ивановне в постель, а потом и на ее председательское место залезть. И после этого вы еще хотите, чтобы люди в колхозе подчинялись вашим словам?!

Как лошадь от удара кнутом, Никитин вскинул голову, ноздри побелели у него. Но ответил ей почти шепотом:

— Ничего ты, темная богомолка, не знаешь, а болтаешь своим языком, как помелом. Нравится это тебе или нет, но теперь уже не Каширина председатель колхоза, а Никитин, и если ты к вечеру не почистишь у коров, то на обратном пути я тебя от них навсегда отстраню. Не посмотрю, что ты крутишься возле них, как говорят, уже двадцать лет. Я все сказал. Изволь бери лопату и выполняй мой приказ!

Вечером, возвращаясь тем же путем после объезда полей, он опять подвернул к ферме. Настюра Шевцова, как и утром, сидела у двери нога на ногу, пускала свои колечки. Но в коровнике все было дочиста выскоблено, подметено, коровы похрустывали люцерновым сеном. Никитин внимательно все осмотрел и, ни слова не сказав, уехал.

Много позднее, когда Никитин уже прославился как председатель лучшего в районе колхоза и портреты его тоже стали появляться в газетах, как до этого появлялись портреты Кашириной, никому и в голову не смогло бы прийти, что этому большому человеку с насмешливым мужественным лицом тоже хорошо знакомо, что это за штука — отчаяние. И что не так-то далеко отступило в прошлое время, когда этот, как писали теперь корреспонденты, прирожденный колхозный вожак приходил вечером домой и уже с порога кричал своей жене так, что пена пузырилась у него в уголках губ:

— Нет, никогда из меня председателя колхоза не получится, я это с первой же минуты знал!.. Ничего я в этом проклятом сельском хозяйстве не смыслю и никогда не пойму! — И он переходил на умоляющий шепот: — Давай, Тоня, скорей опять принимай от меня вожжи, пока я тут голову не сломал.

Только она, Антонина, и видела его таким. И только они двое могли бы потом припомнить, какие тогда между ними происходили разговоры.

— С этими людьми не только до коммунизма не дойдешь, как бы вместе с ними и социализма не проворонить. Жулик на жулике. Смотришь, то целую копну сена из-за Дона на лодке с колхозного луга везет, то мешок арбузов с бахчи несет, а то и четверть молока с фермы. Женщины на работу без ведер не ходят.

Антонина вставляла:

— Они, Коля, в этих ведрах харчишки с собой носят.

— А оттуда через верх помидоры, лук или виноград. Ни одна порожняком не идет. Мне было легче, когда я у тебя в пещере лежал, а вокруг были враги. И на фронте я тоже хорошо знал, что мне нужно делать. Здесь же вокруг все свои: и вдовы, и бывшие солдаты, а договориться с ними невозможно. Ну никак нельзя.

— С кем же, по-твоему, Коля, нельзя у нас договориться? — улыбаясь, спрашивала Антонина.

Он раздраженно отмахивался:

— Как будто ты сама не знаешь. У них круговая порука тут. Ну, например, с той же твоей подружкой, Настюрой Шевцовой. Как намажет губы, вставит между ними папиросу или же свернет из районной газеты вот такую «козью ножку»,— смеющимися глазами Антонина наблюдала, как он похоже изображал Настюру,— окутается тучей дыма и стреляет в тебя сквозь этот дым своими черными глазюками, как шрапнелью.

— Ей же, Коля, действительно трудно одной с коровами управляться. И подои, и почисть, и корм подвези. Сама ездит на арбе за сеном.

— А кто же ей привезет? Ты же знаешь, что у нас в колхозе еще долго будет нехватка людей. Пока малолетки не подрастут.

Антонина с грустью соглашалась:

— Это правда. Характер у Настюры действительно не простой, но, может, лучше к ней с какого-нибудь другого бока подойти. Бывало, если с ней по-хорошему, с шуткой, так она безотказно и день и ночь. Аж шкура трещит. А закурила она с тех пор, когда ей муж сообщил, что не вернется к ней, потому что одни култышки остались у него вместо рук и ног. И обратного адреса не написал. Она его до сих пор и через милицию и по радио не может найти. Ты бы, Коля, попробовал с ней как-нибудь иначе.

Никитин еще больше начинал сердиться:

— У меня на руках колхоз и чтобы расцеловываться с каждой богомолкой — времени нет.

— Никто тебя и не заставляет. Но и в бога она ударилась тогда же, когда от мужа получила письмо. Перед Настюрой я виновата. Растерялась, когда только что колхоз приняла, глаза разбежались, а у нее как раз в это время стряслось. Вот тут наш хуторской отец Виссарион и нагрянул к ней прямо на дом на своем мотоцикле. Но и теперь еще, Коля, ее не поздно от него оторвать.

— Только этого еще мне не хватало — из-за твоей Настюры с попом в войну вступать. Не сердись, Тоня, но я вижу, что вы тут за это время все спелись и жалеете друг дружку там, где жалеть никак нельзя. Из-за этого и страдает колхоз. И, может быть, с этим тут в первую очередь надо начинать войну.

— С кем же это ты, Коля, у нас в хуторе собираешься воевать? С вдовами и детишками? Но ты еще не успел как следует узнать, какой тут народ. Гордый, над ним долго

не покомандуешь. Рано или поздно, а с нашими людьми тебе свои фронтовые привычки, Коля, придется забыть.

После этих ее слов он настолько выходил из себя, что уже переставал называть ее Тоней.

— Мои фронтовые привычки, Антонина, здесь совсем ни при чем. Вот тебе свои, председательские, действительно надо бросить. И так уже в районе начинают говорить, что у нас в колхозе не один председатель, а два. Уже и Неверов на последнем пленуме проехался по моему адресу: «А не пора ли вам, товарищ Никитин, начинать думать своей головой?» — И, виновато заглядывая Антонине в лицо, Никитин начинал уговаривать ее: — Спасибо тебе, Тоня, я без тебя на первых порах совсем бы пропал, но теперь, может, и правда пора уже мне попробовать обойтись без подсказок. Так я поскорее разберусь. Ты только, пожалуйста, не обижайся.

Она успокоила его:

— За что же мне обижаться на тебя? — И тут же твердо пообещала, как некогда он ей в яме на яру: — Хорошо, я больше не буду.

Из-за всего этого — из-за фронтовых привычек в обращении с людьми — его еще долго считали в колхозе человеком суровым, чуть ли не черствым, но она-то знала, что это совсем не так. Недаром же и с хуторскими детишками у него как-то сразу нашелся общий язык, а детишек не обмануть. Если едет по хутору или по дороге в степи и увидит гурьбу казачат, всех до единого заберет в машину и весь день возит с собой из бригады в бригаду, к величайшей досаде кухарок, которым по его распоряжению приходится зачислять на довольствие еще и этих клиентов, уплетающих на вольном воздухе не менее чем по две чашки наваристого борща с мясом и по целому арбузу.

И мимо детского сада не пройдет. Самые маленькие уже признали его, так и облепят всего, и он знает их по именам. К немалому их удовольствию, обедает вместе с ними за столиком и беседует по-взрослому. А вечером, с изумлением рассказывая Антонине о каком-нибудь особенном смышленом из них, непременно сведет все к тому же:

— И мы бы с тобой еще вполне могли такого заиметь.

— Поздно уже мне.

Он не на шутку сердился:

— Какая же ты старуха? И родить тебе в твои годы совсем еще не грех, и сына или дочку мы успеем на ноги

поднять. Смотри, как ты сохранилась, тебе любая молодая позавидовать может.

— От людей, Коля, сгыдно. У меня сын уже скоро техникум кончит.

Никитин сердился еще больше:

— Сын тебе не судья, у него своя жизнь.— И, лаская ее, жарко настаивал: — Роди. Знаешь, как я тебя за это буду любить!

— А сейчас разве не любишь? — смеясь, допытывалась она.

— Тогда будет совсем другое дело.

И продолжались эти разговоры между ними вплоть до того времени, пока не вернулся из города после окончания техникума ее сын, Григорий, и своим появлением в доме как бы окончательно подтвердил, что ей, матери такого взрослого сына, действительно поздно и стыдно. Тем более что у Григория, поселившегося на другой половине дома с молодой женой-учительницей, вскоре появился свой сын. Не успели оглянуться, как он уже по утрам стал переползать с отцовской половины дома к бабушке и к деду.

Когда внук, забираясь к деду на грудь, затевал с ним обычную веселую возню, то, взглянув на них, трудно было определить, кому доставляют больше удовольствия эти ежеутренние игры. Во всяком случае, разговоры у Никитина с Антониной все на одну и ту же тему прекратились.

Невестка понравилась ей с первого взгляда. Зеленоглазая и жгучая, а если улыбнется, как белым огнем по смуглому лицу полоснет. Когда еще только приехали они, Никитин, вскользь оглянувший ее оценивающим взглядом, вечером удивленно поделился с Антониной:

— Смотри-ка, твой Григорий какую себе присмотрел. Губа не дура.

Антонина немного обиделась за сына:

— Гриша тоже не кривой.

— Этого я не сказал.

Не зная, как Никитин посмотрит на то, что у них вдруг сразу так прибавилась семья, Антонина поспешила предупредить его:

— Они, Коля, немного поживут у нас и потом на квартиру при школе перейдут.

Тут же с благодарной радостью она услышала:

— А зачем им переходить? У нас дом большой, места на всех хватит, а когда переедем в станицу, будет еще больше. Большой семьей веселее жить. И в школу я ее всегда могу по пути захватывать с собой. Если захотят, пусть себе живут.

Вскоре портреты председателя бирючинского колхоза Никитина уже стали появляться и на страницах областной газеты «Молот», как некогда появлялись там портреты Кашириной. Но теперь совсем другое было время, и еще неизвестно, как бы справлялась она с колхозом. А то, что Никитин справляется, уже не могло вызвать сомнений. Даже и в хуторе стали признавать, что при Кашириной колхоз, конечно, тоже был на виду, но так, как он загремел при Никитине, и при ней не было. Не каждый и перед районным начальством сумел бы поставить себя так, чтобы колхозу и тракторы, и комбайны, и стройматериалы отпускались в первую очередь. Все делалось с размахом — что значит мужская рука. Когда в районе от разговоров перешли наконец к действительному укрупнению колхозов, никто не удивился, что председателем самого большого из них стал Никитин.

Из хутора переехали они жить в станицу. Свой же дом на яру Антонина закрыла на замок, наказав Настюре Шевцовой присматривать за ним. Хотела продать дом, и Никитин настаивал, говоря, что Неверов уже начинает публично намекать, что у него два дома, но покупателя не находилось. С тех пор, как правление колхоза переехало в станицу, в хуторе стало совсем глухо. И бросать дом просто так, на произвол судьбы, Антонине жаль было. В нем Гриша родился, и вообще, оказалось, многое связано с этим домом у нее. Оставалось ждать, когда забредет в хутор кто-нибудь из городских пенсионеров в поисках тихого места, где можно было бы спокойно доживать век на лоне природы.

В ожидании этого дня Антонина старалась следить, чтобы дом и подворье не пришли в полное запустение и хоть изредка наведывалась на яр подправить соху в виноградном саду, прополоть между кустами, снять урожай гроздей. Конечно, всего того, что делала Антонина живя здесь, она уже не могла и не успела бы сделать. И на новом месте, в станице, все хозяйство оказалось у нее на руках, потому что из всей семьи только и не работала одна она. Все остальные были заняты, все рано утром разъезжались по своим местам;

Никитин — в колхоз, сын — в ветлечебницу, а невестка — к себе в школу. Домашней работы не видно, но лучше бы целый день в поле, чем у печки.

С появлением же в семье внука ее заботы удвоились. Но заботы эти были радостные.

Спать ей теперь приходилось совсем мало, потому что и за ночь не раз надо было встать к внуку, которого вскоре пришлось забрать на свою половину дома. У невестки пропало молоко, когда ему было всего лишь три месяца, а есть он привык по графику, через каждые три часа, и надо было не прозевать той минуты, когда он заворочается перед тем, как властно потребовать свою бутылочку с соской. Заблаговременно подогреть ее и поднести ему, когда он еще не подал голос, не побудил всех в доме.

— Вы, Антонина Ивановна, скоро меня совсем отлучите от моего сына,— говорила невестка, никогда не называвшая ее мамой.

Но Антонина так и не позволила ей вставать к нему по ночам. Ей и без того приходилось засиживаться за проверкой своих тетрадей до полуночи. Да и когда же еще и поспать, если не смолоду. Правда, Антонина не помнила, чтобы ей и в молодости привелось когда-нибудь выспаться от души, но то ведь было другое время.

И, признаться, ей уже нелегко было бы отказаться от того ни с чем не сравнимого наслаждения, когда ее внук, ее Петушок, обхватив обеими ручонками свою бутылочку, высосет ее до дна и, на миг приоткрыв затуманенные сном глаза, пробормотав свое самое первое в жизни слово «баба», умиротворенно отвернется от нее на подушке.

А там незаметно подкрадывалось утро и, прежде чем все начнут вставать, надо, чтобы у нее в коробе все уже было наготове. Оставалось только подать на стол.

Первым, чуть только светало, наскоро завтракал и уезжал на велосипеде в свою ветлечебницу Григорий, а вскоре после этого сигналила у ворот приехавшая за Никитиным «Победа». Уезжая с утра на поля и виноградники, он прихватывал с собой Ирину, чтобы ссадить ее по пути на другом краю станицы, у школы.

Провожающая их Антонина выходила за калитку с внуком на руках, и он махал им своей ручонкой, пока машина не скрывалась на повороте за тополями. А стоило ему чуть подрасти, он уже заблаговременно стал забираться с утра в машину и, доезжая с ними до поворота, радостно бежал

оттуда назад на своих еще кривых ножонках к бабушке.

Но часто он просыпал этот ранний час, и тогда уже мог повидаться со своей матерью только вечером. У матери его, поглощенной воспитанием чужих детей, совсем не оставалось времени для своего сына. И утром чаще всего уезжала в школу, когда он еще спал, и вечером возвращалась домой с портфелем, набитым тетрадями, которых ей хватало читать с карандашом в руке до поры, когда уже ни в одном хуторском окне не оставалось света.

Просыпаясь в своей кроватке на бабушкиной половине дома и приподняв голову, чтобы заглянуть в соседнюю комнату, он со вздохом спрашивал:

— Мама Ира уже уехала?

— Уехала, Петушок, уехала.

— С дедой?

— С дедой.

— И папа Гриша уехал?

— И папа Гриша.

И потом уже ни разу не вспомнит о них за весь день, до тех пор пока не услышит у ворот сигнал машины. Тогда, все побросав, бежит за калитку, возвращаясь, по обыкновению, на руках у деда.

Только своего отца, как давно заметила Антонина, он почему-то никогда не бежал встречать. Может быть, потому, с грустью думала она, что от отца его, когда он вечером возвращался из ветлечебницы на велосипеде, почти всегда припахивало вином. А дети этого не любят.

Все больше гремел Никитин. Когда Антонине приходилось теперь снаряжать его на пленум райкома или на слет передовиков сельского хозяйства, то, отчищая и наглаживая ему праздничный пиджак с орденами и медалями на бортах, радуясь, отмечала она, что с уже темнеющим от времени золотым и серебряным блеском его фронтовых наград начинает спорить золотой и серебряный блеск наград, еще ничуть не потускневших. Все больше затмевались этим блеском, затягивались и последние следы той славы, которая когда-то сопутствовала ей самой в районе. Той, о которой она и сама уже начинала забывать, не говоря уже о других людях.

Шло время, один за другим менялись в райкоме секретари, и вообще в районе почти уже не оставалось тех, кто мог бы вспомнить, что была среди председателей колхозов

такая Каширина. Тем более что вспоминают обычно о тех, кто сам напоминает о себе.

Так бы, пожалуй, и совсем забыли ее, если б не случай. Если б инструктор райкома Константин Сухарев, отчитываясь на заседании бюро о своей поездке в бирючинский колхоз, вдруг под самый конец своего отчета не щелкнул блестящей металлической змейкой на своей крокодиловой, ядовито-зеленого цвета, папке.

Чем только не приходится заниматься райкому, кроме всех тех обычных дел, которыми всегда занимаются райкомы: кроме хлебопоставок, квадратно-гнездовых посевов кукурузы, закладки силоса, ежесуточных надоев молока и прироста живого веса на каждую наличную единицу скота.

Есть среди всех этих дел и так называемые персональные, а между ними встречаются и такие, что даже самые многоопытные из членов бюро становятся в тупик. Как будто камень попадет под косогон комбайна и полоснет железным скрежетом прямо по сердцу. Жизнь иногда подбросит такое, что лучше бы этого и не знать.

Даже всегда уравновешенный секретарь райкома Егоров вдруг закричал на инструктора таким тонким голосом, что все втянули голову в плечи:

— Надо же, товарищ Сухарев, хоть как-то концы с концами сводить!

Между тем ничто не предвещало этой бури. Начальник районного производственного управления Неверов, дотрагиваясь ладонью до своего бока, жалобно попросил Сухарева перед тем, как тот начал свой отчет:

— Ты только, Костя, покороче. Никитина мы, слава богу, знаем. А у меня, стоит обеденное время пропустить, печенка сразу начинает восставать.

...Обычная поездка, обычный зондаж настроения людей перед очередным отчетно-выборным собранием в колхозе. И показатели, которые Сухарев вычитывал из своих записей, разложенных в распахнутой на две стороны папке на столе, говорили сами за себя.

— Двадцать восемь центнеров с каждого гектара зерновых, по четыреста сорок центнеров зеленой массы кукурузы, по три тысячи сто одному килограмму молока с фуражной коровы,— лишь изредка заглядывая в папку, почти наизусть, читал Сухарев.

— Никитин есть Никитин,— бросил председатель райисполкома Федоров.

— Если б у нас все председатели были такие,— подтвердил райпрокурор Нефедов.

— Яйценоскость кур... — явно радуясь и своей осведомленности и своему молодому звучному голосу, продолжал Сухарев.

— Вот вам, Антонина Ивановна, и наглядная иллюстрация к нашему последнему разговору о роли личности предколхоза,— вполголоса сказал редактор райгазеты Прохоров, наклоняясь к своей соседке Коротковой.

— Но и Никитин не всегда был Никитиным,— возразила она, отводя рукой упавшие на лоб темные седеющие пряди.

— Все-таки ты закругляй,— напомнил инструктору Неверов, снова потрогав ладонью свой бок.

Но и после этого напоминания тот, пожалуй, еще долго продолжал бы вычитывать все показатели, которые привез из Бирючинского колхоза в зеленой папке, если бы секретарь райкома с удовлетворением не прервал его:

— А значит, и настроение колхозников по кандидатуре Никитина на новый срок не может вызвать...

Здесь-то инструктор и щелкнул металлической змейкой на своей пупырчатой ядовитого цвета папке.

— Вот этого, Алексей Владимирович, я бы не рискнул сказать.

Все стулья и пружины дивана в кабинете у секретаря райкома так и заскрипели.

— Это, называется, отмочил.

— Начал за здравие, а кончил...

— Если мы такими председателями, как Никитин, начнем разбрасываться, наш район далеко не уйдет.

Тогда-то и секретарь райкома Егоров, изменив обычной сдержанности, закричал дребезжащим фальцетом:

— Надо же, товарищ Сухарев, хоть как-то концы с концами сводить! — И, взяв себя в руки, продолжал своим обычным голосом, только скулы у него как будто затлелись.— Если судить по вашей же информации, то и по урожайности и по ежесуточному привесу дела в колхозе имени Буденного идут еще лучше, чем в прошлом году, и вы же предлагаете Никитина не рекомендовать.

Бедный инструктор совсем растерялся. Если бы знал он, что слова его произведут такой взрыв на бюро, он бы, может, и не произносил этих слов. Тем более что все это не имело прямого отношения к возложенному на него поручению перед поездкой в колхоз. Под обстрелом реплик, которые сыпались на него со всех сторон, Сухарев взмолился:

— Я же ничего такого не сказал. Лично у меня против кандидатуры Никитина возражений нет. Колхоз при нем явно идет в гору. Не мошенник, не бюрократ.

— Так что же вы все-таки имели в виду? — недоумевая, спросил Егоров.— Может, пьет?

Опережая Сухарева, на этот вопрос ответил председатель райисполкома Федоров:

— Не больше, чем другие.

— Только по праздникам,— подтвердил и Сухарев.

Суживая глаза, Егоров скользнул ими по серовато-сизому, с красными прожилками лицу Федорова, но ничего не сказал и вновь повернулся к Сухареву. Тот стал виновато пояснять:

— Вы, Алексей Владимирович, не совсем правильно меня поняли. Я хотел только сказать, как бы нам там не напороться на неприятность. Там у них среди колхозников раскол. Многие, конечно, будут за Никитина, но есть и против.

У Егорова двумя углами заострились брови:

— Теперь я вообще отказываюсь что-нибудь понимать.

На коротко остриженную голову инструктора снова обрушился град уничтожающих реплик:

— Он и сам себя не поймет.

— Не может без своих кандибоберов.

— Тебе, Костя, пора уже эту комсомольскую закваску бросать,— посоветовал инструктору Неверов.

Сухарев едва успевал поворачиваться из стороны в сторону. Лишь одна Короткова попробовала заступиться за него:

— Вы же не даете человеку кончить.

Металлическая змейка на папке у Сухарева щелкнула в третий раз.

— Ну, а как бы прореагировали уважаемые члены бюро, если бы к вышесказанному я добавил, что Николай Яковлевич Никитин с Антониной Ивановной больше не муж и жена?

Как по команде, все оглянулись на окно с четко врезанным в него, как в раму, яром над Задоньем, уже заметно изменившим с приходом осени свою окраску.

Уже и стога молодого сена побурели среди оранжевых скирд соломы на бархатной черноте зяби. С левобережных верб и тополей облетала листва. И из оголившихся на яру ветвей сада явственно закраснели стены кирпичного дома.

От одного лишь человека и ускользнуло это всеобщее движение. Секретарь райкома Егоров с жестковатым недоумением продолжал смотреть на инструктора.

— Не улавливаю связи... — сказал он сухо.

Теперь все головы, как по команде, от окна отвернулись обратно в комнату:

— Да не слушайте вы его!

— От Сухарева еще и не этого можно ожидать.

— Это чтобы Никитин от Антонины ушел?!

И снова стриженая голова Сухарева едва успевала поворачиваться из стороны в сторону на мальчишеской загорелой шее:

— Я же не сказал, что он ушел.

Никто уже не слушал его.

— Никитина мы знаем не первый день.

— Не проходимец какой-нибудь.

— Она же из него председателя передового колхоза сделала.

Короткова уточнила:

— Нет, Виктор Иванович, она из него человека сделала.

— А это, Антонина Ивановна, ты уже по своей дружбе к ней и как тезка, — насмешливо ответил ей Федоров.— Он тоже ведь не голеньким к ней с луны упал, а в звании майора пришел.

— Звание, Виктор Иванович, это еще не все.

Неверов, посмеиваясь, подытожил:

— На этот раз, Костя, ты и сам себя превзошел. Как говорится, явный перебор.

Однако и Сухарев не захотел оставаться у него в долгу:

— Вам эта история, Павел Иванович, конечно, должна быть лучше известна.

Неверов снял очки и стал протирать стекла клетчатым желтым платком.

— Я тут не самый старейший из членов бюро.— Он покосился на Короткову.— К тому же, после того как я уехал в партшколу, меня не было в районе целых десять лет. Если, Костя, сам не разобрался, то и нечего тень на плетень наводить.

Неизвестно, сколько бы еще продолжалась эта перепалка, если бы Егоров не положил на стол свою обожженную красноватым загаром руку, как припечатал к настольному стеклу пятипалый виноградный лист.

— Но и так ведь, товарищи, нельзя. Я понимаю, все это

и неожиданно и неприятно, но если вдуматься, то и Сухарева можно понять.

Инструктор приободрился, привставая со стула:

— Я, Алексей Владимирович, не имел права умолчать.

Движением руки Егоров усадил его обратно:

— Но и ограничиваться простой регистрацией факта тоже не должны были. Из-за этого мы теперь вынуждены откладывать вопрос до следующего бюро.— И, перехватив неуловимое движение редактора райгазеты Прохорова, спросил: — Вы, кажется, что-то хотели сказать?

— Только то, Алексей Владимирович, что надо бы нам об этом не понаслышке знать, а из первых уст.

— Каширина беспартийная, — напомнил Неверов. — Ее мы не вправе на бюро вызывать.

— Значит, надо какую-нибудь другую форму найти. Нельзя же ее совсем обойти.

Редактора поддержал райпрокурор Нефедов:

— У нарсудьи Пономарева жена тоже беспартийная, а когда он от нее на левую ногу захромал, она и в райком и в обком ездила, полгода в приемных околачивалась. Меня тоже замучила, все требовала, чтобы я его к уголовной ответственности привлек. Это народного-то судью.— Нефедов обвел присутствующих округлившимися глазами: — Если нельзя эту Каширину лично вызвать на бюро, то надо подобрать к ней какой-нибудь другой ключ. Встретиться с глазу на глаз, вызвать на откровенность.

При этих словах прокурора раздался откровенный смешок с того конца дивана, где сидел Неверов:

— Еще не родился тот человек, которому она бы открыла душу.

— Нет, Павел Иванович, не скажи. Она не всегда такая была,— возразила ему Короткова.

— Помню, как еще в бытность мою учителем, она всех делегатов райконференции заставила в лежку лежать, — подтвердил Прохоров. — Ты сам, Павел Иванович, до слез хохотал.

Короткова с затаенной горечью добавила:

— А плакать потом пришлось ей. С этого, может быть, все и началось.

Впервые все услышали, как шумно вздохнул в своем углу самый молчаливый из членов бюро директор винсовхоза Краснов:

— Ни за грош потеряли человека. Слава и гордость района была.

Райпрокурор Нефедов продолжал тянуть свою нить:

— Но в райком-то хоть жаловалась она?

При этих словах Короткова все так же затаенно-горько усмехнулась и переглянулась с Прохоровым, а Неверов снова иронически рассмеялся:

— Тебе, Андрей Иванович, должно быть, одних жалоб жены Пономарева мало.

— Нет, при моей памяти не жаловалась она,— твердо ответил прокурору Егоров и перевел взгляд на Неверова: — Но и оснований для веселья, признаться, не вижу. Я бы сказал, что факт, всплывший сегодня на бюро, скорее печальный.

Багровея под его взглядом до корней своего седого ежика, Неверов достал платок и стал протирать очки. Нефедов не унимался:

— В таком случае, из райкома должен был к ней съездить кто-нибудь. Предлог всегда можно найти. Скажем, будучи в тех краях в командировке, попроситься на ночлег.

Короткова с явным осуждением посмотрел на прокурора и даже немного отодвинулась от него вместе со стулом:

— Как-то у тебя, Андрей Иванович, все легко получается. Всунул ключик в замок — и отомкнул. Как будто, извини меня, Каширина круглая дура. Надо сперва людей в районе узнать, а потом уже к ним свои прокурорские отмычки подбирать.

— Все равно никогда не соглашусь. Человек среди бела дня тонет, а мы стоим на берегу и ждем. И ты, Антонина Ивановна, оставь, пожалуйста, свои намеки при себе. Это, конечно, модно сейчас, но тебе не к лицу. Бросили человека на произвол судьбы. Никогда не соглашусь.

Настала очередь Коротковой покраснеть под взглядом Нефедова, и в серых сердитых глазах ее мелькнула растерянность. Подвинувшись вместе со стулом к ней поближе, Нефедов положил ей руку на плечо:

— Надеюсь, ты, Антонина Ивановна, не обиделась на меня? Теперь мы, как говорится, квиты.

Короткова сняла его руку со своего плеча:

— Мне, может быть, в первую очередь надо обижаться на себя.

— Но, согласись, что кто-нибудь из тех, кто ее лучше знает, обязан был к ней лично съездить, поговорить...

— Во всем этом, Андрей Иванович, разобраться не так-то просто.

Они переговаривались вполголоса, но до слуха Егорова

последние слова Коротковой донеслись. Вставая, он опять положил на стол свою обожженную загаром руку — как припечатал к стеклу виноградный лист.

— Ну если для вас не просто, то я, как человек в районе сравнительно новый, и подавно не берусь. Откладываем до следующего бюро, время до отчетно-выборного собрания в колхозе Буденного еще есть. И для вас, товарищ Сухарев, эта неделя не должна пройти даром.

Прохоров с сомнением в голосе предложил:

— А не лучше ли нам, Алексей Владимирович, это дело кому-нибудь из более... — Он помедлил.— Из членов бюро поручить?

— Например?

Неверов подхватил:

— Например, той же Антонине Ивановне. Во-первых, ей это будет более удобно, как женщине. Во-вторых,— он повернулся к Сухареву,— ты не обижайся, Костя, но тебе еще не по возрасту такие дела. Ты у нас и неженатый еще.

— Я и не обижаюсь, Павел Иванович, а даже рад.

Егоров наклонил голову:

— Что ж, может, так и лучше. У меня возражений нет.

— Зато у меня, Алексей Владимирович, есть,— решительно заявила Короткова.

— Но, если Антонина Ивановна, как здесь говорили...

Короткова не дала ему кончить:

— Именно поэтому я и не могу согласиться. По той самой дружбе с Кашириной, на которую здесь Федоров намекал. Мы с ней действительно старые друзья, но что-то она меня к себе давно уже не зовет. Закрылась у себя на подворье, на яру, и сидит. Раньше я и без приглашения к ней заглядывала, как только еду мимо, так и подверну, а теперь не решаюсь. Было совсем уже направлюсь — и в последний момент трусливо проезжаю мимо. Боюсь, как бы она не подумала, что это я к ней из жалости. Я и сама всяких жалельщиков терпеть не могу, ну а ее-то я, слава богу, знаю. Если догадается, что приехала по поручению райкома устраивать ее семейную жизнь, то, пожалуй, придется мне после этого навсегда к ней дорогу забыть.— И, вприщур поглядев в сторону яра из-под метелок своих обгоревших на солнце ресниц, Короткова повторила: — Я-то ее знаю. Если полюбит, то полюбит, а отвернет — так наотрез. А мне бы, Алексей Владимирович, ее дружбу не хотелось терять. Поздно уже новых друзей заводить.

— Ну что ж, видно, не миновать Сухареву доводить это

дело до конца,— заключил Егоров.— Хоть он здесь и единственный неженатый среди нас.— И скупая улыбка впервые тронула его губы.

Задвигали стульями, затолпились у выхода члены бюро.

— Задала нам сегодня твоя Каширина жару,— пропуская Короткову в двери впереди себя, попенял Неверов.

— Почему же, Павел Иванович, моя, а не твоя?

— Все-таки не скажи...

Уже у самого порога Короткову догнали слова Егорова:

— Вас, Антонина Ивановна, я попрошу остаться.

И после того уже, как остались они в опустевшем кабинете вдвоем, он пояснил:

— У меня, Антонина Ивановна, все время было такое ощущение, что вы чего-то недоговаривали, а вам есть что сказать.

— Есть такие вещи, Алексей Владимирович, о которых и язык не поворачивается говорить.

— Но все же мне одному вы могли бы рассказать?

— Только то, что я знаю. Но знаю я далеко не все.

На исходе дня издали, на дымящемся заревном небе, Красный яр еще больше мог напомнить собой какую-то большую степную птицу, парившую над Задоньем на своих распростертых крыльях.

С наступлением весенних дней, когда подсыхали в степи дороги, Никитин все чаще сам садился за руль своей «Победы», давая шоферу отдых. Тот и рад был помочь дома жене по хозяйству: вскопать огород, поднять на опоры в саду виноградные лозы.

Привычку ездить быстро Никитин сохранил еще с фронта. Его крупные загорелые руки уверенно лежали на белой, как слоновая кость, баранке руля. Под весенним утренним солнцем все сверкало и отливало глянцем: и молодая темно-зеленая листва виноградных садов, и светло-зеленая, а с обратной стороны серебряная листва на тополях в пойменном лесу, и затерянная среди верб излучина старого Дона, и как будто плавающий в воздухе игрушечный куполок станичной церкви. Сверкали шиферные крыши разбросанных по лугу полевых станов, животноводческих ферм, как скирды сена, припорошенные снегом. Нельзя было и представить, чтобы где-нибудь еще могли быть столь же красивые места. Все так широко, округло, беспредельно!

По лицу своей невестки, которую Никитин подвозил по

пути к школе или же вез из школы обратно домой, он видел, что и она не оставалась ко всему этому равнодушной. Но ему хотелось удостовериться:

— Нравится?

Она подтверждала:

— Очень.

Он открывал все стекла машины, и внутрь врывался степной ветер. У Ирины светились оживлением глаза, на щеках зацветал румянец. Рукой с тонким золотым колечком на безымянном пальце она придерживала волосы. Были они у нее черными до синевы. И вся она была какая-то жгучая.

И после того как Никитин уже высаживал ее у станичной десятилетки, а сам по проулку поворачивал налево, в степь, в машине еще долго пахло ее духами. Дорога поднималась в степь меж рядами виноградных садов, и оставшийся в машине запах духов смешивался с таким же тонким, почти неслышным, запахом зацветающих виноградных лоз.

Выехав из станицы наверх, в степь, и оглядываясь, Никитин видел, как мелькает по улице по направлению к школе ее весеннее платье. Иногда это было такое же зеленое платье, как листва на молодой виноградной лозе. Иногда голубое или ослепительно-белое. А иногда и ни с чем не сравнимого красного цвета.

Ее и по одежде можно было узнать, что она не из местных. Из того же самого количества ситца, полотна или искусственного шелка, из которого другая женщина умела скроить себе всего лишь одно платье, у нее получалось два, и, когда коллеги по школе, разглядывая в учительской ее очередную обновку, начинали недоверчиво спрашивать, как это удается ей, она отвечала:

— Представьте, без особенных усилий. Во-первых, не следует уподобляться монашкам и закрывать от солнца то, что тоже хочет радоваться солнцу, а во-вторых, надо раз и навсегда сделать выбор: или тонкая талия, или пироги со сметаной.

Ее дебелые коллеги не прощали, конечно, этих намеков, и с некоторых пор излюбленной темой в учительской стали разговоры о степени падения современных нравов. Иногда за такими разговорами учительницы не слышали звонка, возвещавшего о конце перемены. При этом, несмотря на различия в оттенках мнений, все они в конце концов единодушно приходили к выводу, что абсолютно недопустимо, чтобы

учительница, требующая, чтобы ее ученицы носили косы, сама предпочитала носить на голове подобие скирды, взлохмаченной ветром.

Ирина Алексеевна обычно, слушая эти более чем прозрачные разговоры, молча улыбалась. Это-то, может быть, больше всего и выводило из себя ее коллег. Не выдерживая, какая-нибудь обращалась к ней:

— А что думает об этом уважаемая Ирина Алексеевна?

Спокойно поправляя рукой свою скирду, она, в свою очередь, спрашивала:

— А почему, допустим, все без исключения ученицы непременно должны носить косы?

Всеобщее удивление и возмущение после ее слов в учительской были неподдельными.

И у директора школы, бывшего подполковника, который однажды смущенно крякнул при виде ее нового платья-сарафана, она немедленно поинтересовалась:

— Некрасиво?

— Нет, этого я бы не сказал,— багровея под ее взглядом, как школьник, испуганно заверил директор.— Я бы сказал, совсем наоборот. Но если учесть, Ирина Алексеевна, степень вашего влияния на учащихся...

— У моих учащихся, Максим Максимович, снизилась успеваемость?

— Ваш класс, Ирина Алексеевна, лучший в школе,— твердо сказал директор.— Лично у меня никаких к вам претензий нет. Однако приходится считаться и с другими факторами. Например, с мнением тех же родителей.

— Они, Максим Максимович, жаловались на меня?

Директор взмолился:

— И этого, Ирина Алексеевна, я вам не говорил. Я лишь хотел сказать, что не каждый сможет это понять. Среди родителей могут оказаться люди с предрассудками. Все же нельзя забывать, что это не город, а казачья станица.

— А паранджу, Максим Максимович, в вашей казачьей станице не носят?

После этих ее слов он счел за самое благоразумное от дальнейшей дискуссии с нею уклониться. Лишний раз он убедился, что попадаться к ней на зубок опасно. И в конце концов не его, не мужское это дело — мерить сантиметром длину женских платьев. Говоря откровенно, лично ему даже нравились ее всегда яркие, всегда неожиданные наряды. Сама учительская, когда Ирина Алексеевна появлялась на пороге, как-то молодела. К тому же Максим Максимович давно

уже убедился, что высота нравственных устоев далеко не всегда соответствует длине платьев. Пусть кто хочет, тот и вооружается сантиметром, а он не будет. С него вполне достаточно и этой единственной попытки, предпринятой им не без воздействия своей жены, которая потеряла покой с тех пор, как новую хорошенькую учительницу назначили к ним в школу. Честно говоря, он просто-напросто бестактность совершил, затеяв с Ириной Алексеевной весь этот разговор. Если разобраться, для этого у него совсем не было оснований. У нее действительно самый успевающий в школе класс, и она первая из педагогов с упехом применила на своих уроках липецкий метод.

Если же его жене нравится, пусть сама и вооружается сантиметром. Это в ее духе, она готова ревновать его к каждой юбке. Но оттого, что сама шьет платья ниже колен, успеваемость и дисциплина у нее в классе не сделались лучше.

Не в первый, но теперь уже наверняка в последний раз он позволил ей вмешаться в его взаимоотношения с учительским коллективом и до сих пор не может избавиться от чувства мучительного стыда, что разговаривал с человеком, как стопроцентный ханжа и невежа. Как он мог до этого докатиться?

И дома от ее платьев даже зимой всегда веяло так, будто где-то рядом цвела виноградная лоза. В то время как от Григория, ее мужа, который возился в своей ветлечебнице с коровами и свиньями, всегда пахло креолином. А последнее время все чаще по вечерам, когда он возвращался домой, припахивало спиртным, чего прежде никогда не замечала за ним Антонина. Раньше, бывало, Никитин даже подсмеивался над Григорием, когда тот в воскресенье, выпив налитую ему рюмку, потом долго не мог откашляться, тряс головой.

Теперь же, когда он вечером возвращался из ветлечебницы, издали можно было увидеть, как его велосипед выписывает на дорожной пыли восьмерки. Хуторские женщины, провожая его взглядами, покачивали вслед головами, а ребятишки весело показывали друг дружке на пыльной дороге его затейливые узоры.

Как-то вечером донеслось до слуха Антонины с половины дома, занимаемой молодыми, как Ирина презрительно сказала пристававшему к ней с пьяными нежностями Григорию:

— Разве таких любят?

Вдруг совсем протрезвевшим голосом Григорий ответно спросил у нее:

— А таких, как ты?

Ирина немедленно переспросила:

— Каких — таких?

— Ты и сама знаешь,— уклончиво пробормотал Григорий.

— Может быть, и любит... кто-нибудь, — не сразу ответила Ирина.

Антонина поспешила закрыть на их половину дверь, чтобы не слышать продолжения разговора.

По воскресеньям, когда вся семья в одно время сходилась за столом, обмениваясь теми новостями, что у каждого накопились за неделю, у Никитина с Ириной обычно начиналась словесная игра. Заранее посмеиваясь, он требовал от нее последних донесений с фронта ее войны с директрисой из-за длины волос и юбок. В свою очередь, у него каждый раз тоже непременно находилось для нее что-нибудь смешное.

— До тех пор никак не мог сообразить,— рассказывал он,— почему наши старухи совсем перестали ко мне в кабинет заходить, пока не пришла тетка Мавра за направлением в Дом престарелых. Сперва она сунулась с порога — и назад, а потом перекрестила на полу ковер, подобрала юбки — и ко мне. Только тут я вспомнил, что ковер ко мне в кабинет попал прямо из алтаря при распродаже церковным советом излишков божественного имущества. А в алтарь, как известно, женщинам и кошкам вход строго-настрого запрещен.

И, рассказывая об этом Ирине, он до слез смеялся, запрокинув голову на спинку стула. Антонина давно уже не слышала у него такого молодого смеха. Ирина смотрела на него и тоже неудержимо хохотала, прикладывая к щекам ладони.

Смотревшей на их веселье Антонине становилось как-то не по себе. То, над чем они смеялись, действительно было смешным, и все же этого недостаточно было, чтобы предаваться столь бурному веселью, совсем забыв, что здесь еще и другие люди. Она видела, что и Григорий, не поднимая глаз от тарелки, улыбается одним углом рта, неохотно.

Они оставались за столом и после того как Григорий, поев, уже уходил на свою половину дома.

— Сейчас, сейчас,— не оглядываясь, рассеянно отвечала Ирина ему, звавшему ее к себе.

И тут же опять поворачивалась к Никитину с готовностью посмеяться над тем, что он скажет.

Однажды Антонина не удержалась, когда он рассказывал, как молодой станичный поп спрятался у своей прихожанки под кровать от нагрянувшего мужа:

— ...А ноги в шерстяных носках из-под кровати торчат. Муж до утра заставлял его барабанить пятками по полу. Только потянется к ружью на стене, как батюшка опять начинает отбивать дробь.

Постукивая кулаками по столу, Никитин показывал взахлеб смеющейся Ирине, как это получалось у попа. У Антонины испуганно вырвалось:

— А если б он его убил?

Коротко, не взглянув в ее сторону, Никитин бросил:

— За это, Антонина Ивановна, теперь не убивают. Другое время.— И вновь продолжал показывать Ирине, как это получалось у станичного попа.

Чего это ему вздумалось ее Антониной Ивановной величать? Несмышленый внук, Петушок, при этом так и скакал на коленях у деда.

Только у нее, у Антонины, и не оказывалось под рукой каких-нибудь новостей, которые тоже можно было бы ввернуть в разговор. Кроме все одних и тех же, связанных с внуком, с огородом и с обычными хлопотами по хозяйству, совсем неинтересных для них. Какие у нее могли быть новости, если теперь и она по целым дням ни на шаг не отлучалась из дому, и к ней почти не заглядывали люди. За исключением Настюры Шевцовой, которая пока не забывала ее.

С тем большей жадностью набрасывалась Антонина с ласками на внука. С запоздалым раскаянием вспоминала, что даже Гришу, своего сына, не пестовала так. Даже он, ее первенец и единственный, когда был таким же крохотным, не занимал в ее жизни и ее сердце такого места. Может быть, потому, что совсем молодая еще, глупая была, а может, и потому, что другое было время и ее жизнь, не то что теперь, заполнена была совсем другим.

Это теперь она может и купать своего внучонка каждый день, и собственноручно обшивать его, и чутко ловить, чтобы потом пересказать другим, каждое новое слово из его косноязычного лепета. Удивительно, как этим ручонкам удается так безраздельно завладевать сердцами взрослых. И совсем уже удивительно, как в таком маленьком человечке могут вдруг выразиться черты и повадки — нет, даже не своих род-

ных отца или матери, а неродного деда. Та же степенность и также — это когда Петушок уже встал на свои ножонки — пройдется взад и вперед по комнате, сунув за пояс штанишек большой палец.

Антонина безотчетно радовалась, глядя на него, а Никитин при этом начинал бурно хохотать и, подхватывая внука на руки, подбрасывая его над собой, кричал:

— Сразу видно мужчину!

После этого у них поднималась такая возня, что даже Ирина, отрываясь от тетрадей, сердито кричала им с соседней половины, чтобы они убирались во двор.

Сразу присмирев, Никитин послушно удалялся с внуком на руках, сконфуженно поясняя ему:

— Тише, Петушок, а то твоя мамка не успеет проверить все тетрадки.

И чем дальше, тем все больше удивлялась Антонина, как это Григорий мог оставаться совсем равнодушным к своему сыну. Ни разу не видела, чтобы взял его к себе на колени или же, допустим, смастерил ему, как тот же дед, из спичечной коробки, из щепок, а то и просто из арбузных корок, какую-нибудь тележку или другую незамысловатую игрушку. Не говоря уже о том, чтобы порадовать своего первенца купленными в станичном сельпо дудочкой, цветными кубиками, самосвалом с механическим заводом.

— Ты, мать, теперь у нас начхоз,— говорил Никитин,— а от этой фигуры на фронте всегда зависела бо́льшая половина успеха. Фигура, можно сказать, историческая.

Ей нравились эти слова, хотя и непривычно пока было, что он стал называть ее уже не по имени, а матерью. А последнее время все чаще бабкой.

Но ведь так оно и было. Самое главное было не в словах, а в том, что ей, в избытке хлебнувшей одиночества у себя в доме на яру, теперь сразу привалила такая большая, веселая семья. И если правда от нее зависит, чтобы в их семье все было хорошо, она постарается сделать для этого все, что в ее силах. В том числе и для того, чтобы ничем посторонним, лишним не омрачалась молодая жизнь ее сына, Григория, с женой, Ириной.

Ей давно уже показалось, что между ними что-то происходит. Ни от Григория, ни от невестки не слышала она, чтобы они когда-нибудь жаловались друг на друга, и чужому взору ни за что было бы не уловить тех искр, которые про-

бегали между ними. По видимости все оставалось у них, как прежде. Но на то и мать она была, чтобы увидеть то, чего не могли увидеть другие. Как бы они ни скрывались и как бы ни береглась она того, что происходило на их половине дома, нельзя было, живя под одной крышей, до конца уберечься.

— Опять от тебя, как из бочки. Каждый день. После этого ты еще на что-то претендуешь.

— Ты же знаешь, почему я стал пить. Давай, Ирина, скорее уедем отсюда. Мы еще только начинаем жить. Я тебе ни единым словом не напомню.

— А я и не считаю себя виноватой. Когда-то, когда мы еще были студентами, ты говорил, что выше любви ничего не может быть. Другой бы на твоем месте знал, как надо поступить. У тебя просто ни мужества, ни гордости нет.

— Как ты не поймешь...

Тут Антонина неумышленно напомнила им о своем существовании, зацепив ногой порожнее ведро, и они замолчали.

Ничего определенного, конечно, не понять было из этих их слов, за исключением того, что прежних отношений уже не существовало между ними. Но в одном Антонина была полностью согласна со своей невесткой: выше любви ничего не может быть. В это Антонина уверовала еще с тех пор, когда Никитин прятался у нее в яме от немцев, и она ловила те редкие моменты, когда можно было проскользнуть к нему.

Сердце ее возмущалось против собственного сына. По всему видно, что ревнует он, глупый, жену к чему-то прошлому, а к чему можно ревновать, если все, все без остатка смывает любовь, как чистой слезой. И после этого человек как будто только что нарождается на белый свет. Он уже совсем другой, новый.

Согласна была она и с теми словами Ирины, что человек никогда не должен терять своей гордости. На собственном опыте знала, что как бы для нее ни были невыносимо тягостны воспоминания о том дне, когда она, не помня себя, ехала с заседания бюро райкома, как будто бежала от погони, и как бы ни раскаивалась она еще и теперь, что поддалась тогда чувству обиды, ее всегда тайно радовало и утешало, что ни своего достоинства, ни своей гордости она тогда перед Неверовым не уронила. Никто потом так и не узнал, что скрывалось за ее спокойствием, которому так удивлялись все люди.

Долго скрывая от Никитина свои наблюдения, она, наконец, решилась поделиться с ним:

— По-моему, Коля, что-то неладно между ними.

— Что же именно? — медленно закуривая, поинтересовался Никитин.

И после того, как она пересказала ему разговор Григория с Ириной, переспросил:

— Так прямо и сказала?

— Да, говорит, выше любви ничего не может быть. Конечно, Коля, как женщина, я с нею согласна, а, как матери, мне все-таки Гришу жаль. Он последнее время на себя не стал похож. Ты же знаешь, что раньше он никогда не пил. А может, Коля, у них все это еще по молодости и потом пройдет? — Приподнимаясь, она с надеждой заглянула ему в глаза: — У молодых, говорят, это бывает, пока они как следует не привыкнут друг к другу. Правда, у нас с тобой, Коля, этого не было, я к тебе сразу привыкла. Как ты думаешь, пройдет у них, а?

Не дождавшись ответа, сама же и успокоила себя:

— Должно пройти. Делить им между собой нечего. И Петушок у них растет.— И, окончательно успокаиваясь от своих слов, совсем повеселела: — Все еще наладится, правда, Коля?

— Может быть,— отвечал Никитин, раскуривая новую папиросу и вставая с постели к форточке, открытой в сад, пуская в нее клубы дыма.— Хотя и давно бы уже пора было наладиться. Вообще-то, мать, тебе лучше в их дела не вмешиваться, они сами разберутся.

Она испугалась:

— Что ты, Коля, я и не вмешиваюсь никогда, откуда ты взял? Я и тебе долго не решалась рассказать, думала, все настроится самой собой.

Щелчком выстрелив из форточки в сад окурком, он повернулся к ней:

— Принесла бы ты лучше мне из погреба банку холодного вина.

Она удивилась:

— С чего тебе вдруг захотелось?

— Сам не знаю. Должно быть, с духоты или с твоих жирных щей. Запить надо.

— А может, лучше холодной простокваши принести?

— Нет, это ты лучше посоветуй своему Григорию на простоквашу перейти,— насмешливо сказал Никитин.

Вдруг приметила за собой, что чаще обычного в течение дня наведывается в низы дома, в погреб, где у нее стояли бочки и бочонки с вином. Виноградное вино у нее в доме никогда не переводилось, как у всех здесь, у кого были свои виноградные сады, а сады здесь тоже были почти у каждого. Случалось, и на трудодни в колхозе выдавали вино. Низовские казаки рождались и умирали с вином, а женщины здесь пили не хуже мужчин. Особенно после войны вдовы.

Но Антонина раньше никогда не пила. Может, потому, что некого ей было оплакивать и не нужно было предаваться горьким воспоминаниям об утраченном счастье. Ее счастье безотлучно было при ней, рядом. Не пила, если не считать праздников и тех летних жарких дней, когда, спускаясь в погреб, обычно освежалась одним-двумя стаканами холодного вина: оно хорошо освежало. И всегда это случалось не то чтобы специально, а невзначай. Если бы не какое-нибудь дело заставляло ее спуститься в погреб, она бы и не вспомнила до очередного праздника, что у нее там стоит вино.

Теперь же она непременно стала находить убедительные причины, чтобы на дню несколько раз спуститься в погреб. И когда впервые заметила это за собой, испугалась. Тут же с уверенностью решила, что, когда нужно будет, совладает, справится с собой. Отрежет раз и навсегда. Но пока что не станет. Вино и что-то обостряло в душе, настраивало на какую-то ей самой непонятную печаль, жалость к самой себе, и как-то помогало справляться с ними. Допьяна она никогда не напивалась, а в моменты легкого опьянения к ней теперь всегда с необыкновенной яркостью приходили воспоминания о том, что теперь издалека представлялось столь же ослепительно неповторимым, сколь когда-то оно было невероятно неслыханно трудным.

Особенно, помнилось, трудно стало ей, когда от взора неотступно следующего за ней денщика Иоганна днем уже невозможно было ускользнуть ни на минуту, и у нее оставались только ночи. Те глухие часы, когда он засыпал, часто и в обнимку с опустошенной им винной бутылью, за столом. А после налета романовских партизан на станичную ортскомендатуру вокруг всех домов с квартирующими офицерами стали выставлять на ночь часовых. Каждую минуту они могли окликнуть ее с улицы, когда она пробиралась в глубь своего сада к яме, где прятался Никитин.

Вспоминая об этом теперь, она всегда приходила к выводу, что не последующие, когда они с Никитиным уже стали мужем и женой, а именно эти дни были самыми счастливыми

в ее жизни. Когда она уже открылась себе во всем, призналась себе, что любит его, и с нетерпением всегда ожидала того часа, когда опять будет прокрадываться к нему в бурьяны, под яр. Это было сопряжено с опасностью, плоские штыки немецких часовых блестели из темноты по всем четырем углам квартала, но для нее это были часы ее свиданий. Да-да, это были ее свидания, потому что к тому времени она уже поняла, что для нее он был не просто раненый лейтенант, которого надо спрятать и уберечь от глаз немцев. И если бы даже ее сад был весь населен не деревьями, а солдатами, она все равно проползла бы к нему между ними. Это любовь научила ее быть такой по-звериному осторожной, хитрой. Неурочная и нечаянная, впервые разбудившая ее тридцатилетнее сердце.

И тот же собственный сад, такой знакомый, казался ей теперь совсем иным, новым. Если светила луна — тени падали на землю от стволов деревьев, от виноградных кустов, а если луны не было — стволы и сохи светились из темноты. По нападавшей листве с шорохом бегали ежи, заставляя часовых на улице вскрикивать «хальт» и лязгать затворами карабинов. Она припадала к земле и, переждав, опять ползла. Удивительно гибким, послушным оказалось ее большое тело.

До сих пор она явственно слышит этот запах теплой соломы и самосадного табака, дышавший ей в лицо из ямы, в которой лежал Никитин. Должно быть, с тех пор и сиреневые цветочки дерезы, в которой пряталась яма, стали ей как-то милее. Когда она теперь в саду и в огороде выпалывала эту сорную траву, выдергивала ее стебли руками, ей становилось немного грустно.

Но все же ее, эту вредную дерезу, надо было не только подрубать лезвием тяпки, но и лопатой подкапывать, выдергивать с корнем. Потому что, если ее не выдернуть до самой тонюсенькой ниточки, она потом все равно опять вырастет и опять будет до самой осени цвести своим мертвенно-сиреневым цветом.

С утра до обеда она мотыжила на огороде, а перед самым обедом нагрела воды, чтобы искупаться, смыть с кожи горький пот и красноватую суглинистую пыль, взбитую тяпкой. Внука, как всегда в это время дня, накормила и уложила спать, а все остальные должны были вернуться с работы только к вечеру, никто не должен был ей помешать.

Уже искупавшись, вытерев полотенцем ступни ног и разгибаясь, увидела себя в зеркале. Никогда прежде не рассматривала себя. Брезговала. Не смогла бы хорошо искупаться и при ком-нибудь из посторонних, даже если это была женщина. С детства всегда стыдилась купаться при других. И теперь, бывало, зимой, нагрев в субботний вечер воды, выгоняла Никитина во двор покурить, и запиралась. Он ходил вокруг дома под окнами и ворчал:

— Выдумала, нашла от кого запираться. Ты, должно быть, одна на всем свете такая.

Но по голосу его можно было понять, что ему это нравилось. И летом на Дону у нее было свое укромное местечко среди верб, где ее никто не мог увидеть. Больше всего не любила, когда женщины, спустившись после работы к Дону, целой бригадой зайдут в воду и начинают обсуждать, кто худой, кто толстый, у кого какие бедра и ноги, делясь всякими подробностями о своих мужьях и других знакомых мужчинах.

Если это можно было как-то объяснить, когда была война и в первые годы после войны, когда в станице на одну женщину приходилось по пол-инвалида, то теперь и в этом жизнь почти выровнялась, пора бы уже перестать жить по законам военного времени.

Теперь же поближе подошла к большому трюмо и впервые в жизни взглянула на себя нагую. Большая смуглая женщина стояла перед ней. Вдруг вспомнилось ей, как Никитин еще не так давно говорил ей, что грудь у нее, как два краснобоких яблока, и в поясе она, как девушка, несмотря на то, что рожала. Теперь ей захотелось узнать, что же могло измениться с тех пор, какие произошли с ней перемены. Конечно, летят годы, и для нее они не могли пройти даром. Но и не так-то состарилось ее тело — плечи, ноги, грудь,— чтобы пренебрегать ею, как это он стал себе позволять. Конечно, ей уже не тридцать, но и не расходовала она себя почем зря, не баловалась. И до Никитина никого из других мужчин, кроме мужа, не хотела знать, а денщик — это как черный сон. Это было не с нею, а с какой-то другой женщиной. Не погуливала, хотя и подкатывались к ней. И тогда, когда еще была она знаменитым на всю область председателем колхоза, портреты ее печатались в газетах, а Никитин не подавал о себе вестей, даже из других районов засылали к ней сватов, и еще сравнительно не-

давно, лет пять назад, вдруг повадился причаливать прямо к ее подворью, к яру, на своем «Альбатросе» инспектор рыбоохраны, пока она не пригрозила ему, что скажет Никитину.

Нет, никаких особых перемен она не нашла у себя. Вот только глаза стали какими-то беззащитными, ей самой не понравился их тревожный блеск.

И еще, глядя на себя в трюмо, вспомнила, как Никитин любил брать в руку и переливать в пальцах ее волосы. Они у нее были такие длинные, что когда, расчесывая, она распускала их, они падали ниже пояса, закрывая ей плечи и спину. Иногда полусерьезно, полушутливо она начинала угрожать Никитину, что возьмет и отрежет их, надоела ей эта вечная морока — ни расчесать, ни промыть хорошо, и летом под ними жарко, как под пшеничной копной. Да и годы ее уже не те, чтобы накручивать косу. Когда она говорила это, он всегда пугался:

— Смотри, чего доброго, и в самом деле не сдури. Может, я тебя за твои косы и полюбил.

Теперь же ни разу не взглянет в ее сторону, когда она распускала их по плечам, расчесывая и укладывая вокруг головы венцом. Теперь ему никакого дела не было до того, что при этом они как будто плавятся, пронизанные косо падавшим из окна утренним солнцем. Еще ни единой ковыльной нити не поблескивало в них.

Она хорошо видела, что, раскуривая в это время свою утреннюю папиросу, сидя на кровати, он смотрит на другую половину дома, где невестка, как всегда, собираясь в школу, прихорашивалась перед зеркалом. Волосы у Ирины были даже не черные, а как будто фиолетовые. Под гребешком они трещали, как железные. И все-таки он, покуривая, терпеливо ожидая, когда Ирина закончит свои сборы, смотрел на них, а не на этот пшеничный водопад, в котором путалось утреннее солнце.

На улице их поджидал в машине правленческий шофер.

Ее взгляд вдруг увидел ножницы, надетые на гвоздик сбоку трюмо. Еще и сама не представляя, что может произойти, она сняла их с гвоздя, взяла с комода большой деревянный гребень и, перекидывая мокрую косу со спины на грудь, пропуская волосы через гребень, отрезала их близко от шеи. С шорохом они упали к ее ногам. И когда, повернув голову через плечо, она снова глянула в зеркало, перед нею

стояла совсем незнакомая ей женщина с такими же короткими, как у невестки Ирины, волосами.

От испуга она закрыла лицо ладонями.

Но, быть может, самое страшное для нее заключалось в том, что, когда вечером все собрались и она вышла из кухни к столу с этими коротко остриженными волосами, он, невидящим взглядом скользнув по ней, даже не заметил ничего. Как если бы все оставалось по-старому. Только Ирина, похоже с сожалением, коротко взглянула на нее. Но тоже ничего не сказала, низко опуская голову.

Наутро все это представилось ей в совсем ином свете, и она уже никого не могла винить, кроме самой себя. Ей теперь уже не столько волос своих было жаль, сколько того, что за эти годы она, оказывается, успела настолько обабиться, что незаметно для самой себя превратилась в одну из тех жен, которые, если бы на то их воля была, за ручку водили, а то и совсем на цепи держали своих мужей, запечатывали им своими ладошками рты, чтобы они не смогли с какой-нибудь другой женщиной слова сказать, и завязывали глаза, чтобы они, чего доброго, не взглянули на кого.

Ее в холодный пот бросило от этих мыслей, и она содрогнулась от отвращения к самой себе. Господи, да пусть смотрит на кого угодно и сколько угодно, мало ли он с какими женщинами в колхозе встречается за день! И разговаривает с ними, и шутит, и, бывает, они даже заигрывают с ним — какие бы они казачки были, если б не заигрывали! И при этом он не вправе унизить их своим пренебрежением или обидеть высокомерием. Какой же он будет председатель, если не сумеет и принять шутку и повернуть ее так, что женщины потом из шкуры вылезут, а исполнят все, о чем он их просил,— ей ли не знать станичных женщин.

И на нее, невестку, пусть смотрит на здоровье. Что ж из того, на нее и вообще приятно посмотреть, на такую молодую, красивую, жгучую. Вообще она вся какая-то, как нездешняя: как будто отстала от одного из пароходов, огибающих яр на впадении Донца в Дон, и теперь поджидает следующего, чтобы уехать дальше. Не чужая же она, чтобы с ней слова не сказать. Тем более что Григорий, ее муж, сызмальства привык больше молчком, клещами не вытянешь из него слова.

Из того же, что не заметил, как она отрезала свою косу, тоже ничего иного не следует, кроме того, что обабилась,

совсем ослепла. Мало ли ей что еще может взбрести в голову, а он, оказывается, должен быть и за это виноват перед ней. У человека на плечах не какой-нибудь карликовый, как когда-то у нее, а крупнейший в районе колхоз, столько людей, и все рвут председателя на части. От одних уполномоченных и ревизоров жизни нет. Недаром он как-то говорил Ирине за столом, что председатель колхоза — тот же телеграфный столб, о который может почесаться каждая свинья...

А тут, значит, еще не пропусти, не прогляди, какую вздумает сделать себе прическу жена. Смотри, не пропусти, когда она тоже захочет завести себе модную скирду.

При этих мыслях Антонине начинало казаться, что краска жгучего стыда достает ей до костей. Но это также был и какой-то приятный, радостный стыд, в котором растворялась та смутная тоска, что все чаще подкрадывалась и точила ее последнее время. Чем беспощаднее казнила она себя, тем явственнее чувствовала, как сваливается с нее камень этой тоски, и опять ей становилось легко-легко. Совсем как прежде.

Ничего, оказывается, не изменилось, а изменилась только она сама. Спустилась с той высоты, с которой никогда и ни при каких обстоятельствах не имеет права спускаться женщина.

Но если это так, и все зависит от нее самой, то это поправимо. Надо только освободиться от всего того, чего она всегда не понимала и не принимала у других женщин. И она освободится. Ничто постороннее, лишнее, мелочное не должно омрачать их жизнь.

В таком настроении и застала ее Настюра Шевцова, прибежав к ней из хутора в станицу со сбившимся с головы на плечо платком. Тут же, прямо в калитке, она и стала рассказывать Антонине, захлебываясь своими словами.

По словам Настюры, давно уже кое-что приметив, она стойко, не меньше месяца, несла дежурство в молодых вербочках на полдороге между станицей и фермой, пока не дождалась. Целый месяц Никитин с Антонининой невесткой, не задерживаясь, проезжали мимо нее на машине, и вдруг сегодня недалеко от того самого места, где она, затаившись, лежала в кустах, машина повернула и заехала в глубь прибрежного леса, под большие вербы. Никитин с невесткой вылезли из нее и спустились по стежке друг за дружкой прямо под обрыв. Это в том самом месте, где Дон размыл

себе колено. В этом затишке хоть гелешом купайся — из-за кручи ни с этого, ни с того берега не видать. Настюра и сама, как идет с фермы в хутор, спускается туда, растелешится и плещется от души. Никому же в голову не придет ложиться животом на обрыв и, свесив голову, заглядывать, что там делается внизу.

Но она, Настя, не поленилась. На животе ящерицей проелозила по траве до самого края и заглянула под обрыв.

Каково же было удивление и негодование Настюры, когда в этом самом месте Антонина, рассмеявшись прямо ей в лицо, сказала так грубо, как еще никогда не разговаривала с нею:

— Иди и бреши где-нибудь в другом месте. Люди от жары искупаться захотели, а тебе надо.

И перед самым носом у Настюры захлопнула калитку.

Это после того, как Настюра из-за нее же дежурила в вербочках целый месяц. Ей же, слепой дуре, хотела добра.

Когда Настюра Шевцова постучала в калитку еще раз, Антонина из-за забора пригрозила ей, что если та еще тут будет стоять и брехать, она спустит с цепи кобеля.

— Он быстро поможет тебе найти отсюда дорогу. Как будто я не знаю, что все это ты выдумала в отместку ему за то, что он не любит тебя за твой язык и даже называет не Настюрой, а Стюрой.

Отблагодарила. Ну и пусть, так ей и надо. Ее, дуру, и ее, такого же слепого дурня, сыночка, околпачивают среди бела дня почем зря, и она же прикрывает все это своей юбкой. Чистюля, через губу не плюнет. Думает, как она на всю жизнь дала себе зарок не оскоромиться, так и все другие скоромное не едят. Тогда шла бы уж сразу в монастырь, чем замуж выходить. Еще тоже называется — казачка. Вот и дождалась, утащили мужа из-под самого бока.

Пусть, пусть. Так этой сатанюке и надо.

И, отходя от калитки, Настюра Шевцова с глубочайшим презрением сплюнула через плечо.

Накормив и проводив с утра всех на работу, а внука в детский сад, Антонина обычно успевала к их возвращению и на задонский огород съездить и, переправившись обратно, разогреть обед, накрыть на стол. На этот же раз она задержалась на переправе из-за того, что станичные паромщики поругались и чуть не подрались, сдавая друг другу смену. Когда вошла к себе во двор, Никитин с Ириной уже обедали вдвоем за столом в доме на веранде.

Еще издали она услышала их голоса. О чем-то негромко говорили они. Вдруг что-то толкнуло ее. Если бы не то, из-за чего она рассорилась с Настюрой, то, возможно, теперь бы и не замедлила она шаги, не приостановилась в коридорчике перед полуприкрытой на веранду дверью. Но, может быть, и потому, что, еще ничего не разобрав, не поняв из их разговора, она вдруг ощутила какое-то неприятное беспокойство.

Ее невестка разговаривала с Никитиным таким тоном и с той свободой, которая как будто говорила, что у нее есть на это право. Сама Антонина за многие годы жизни так и не научилась разговаривать с ним в таком тоне.

— Это каким же образом? — насмешливо спрашивала у него Ирина.

Перед своей совестью Антонина чиста была — она их подслушивать не собиралась. Но коль так получилось, значит, ей до конца нужно узнать, по какому праву она могла так разговаривать с ним.

— Каким образом? — с вызовом повторила Ирина.

Некоторое время Никитин не отвечал ей, а когда заговорил, голос его был скорее похож на ворчание:

— Ну, у женщин, говорят, есть много способов.

— Ты же сам просил не доводить пока до разрыва.

— Это совсем другое. Я же показывал тебе эту яму.

— Если бы ты мне ее раньше показал...

Антонине трудно было стоять перед дверью, а в коридоре было невыносимо душно. Отступая за полуоткрытую дверь, она прислонилась спиной к каменной стенке.

Невестка испуганно спросила у Никитина:

— Кто-то вошел?

Под его шагами застонали половицы на веранде, и, потянув на себя дверь, он плотно прикрыл ее:

— Никого нет.

Из-за двери их голоса зазвучали глуше. В духоте коридора Антонина обливалась потом, хорошо, что стена, к которой она прислонилась, была такой холодной. В прошлом году Никитин сам сложил веранду из серого камня.

— И все-таки ты могла бы ему не позволить,— настойчиво сказал он за дверью.

— Это уже что-то новое. Ревнуешь?

— Во всяком случае, мне не обязательно было знать...

Теперь уже нескрываемое презрение сплелось с насмешкой в голосе у отвечавшей ему Ирины:

— Вот даже как?! И это могло бы тебя утешить?

Пот заливал грудь и спину Антонины. Но ей уже не жарко было, а так холодно, как никогда еще в жизни. Каменная стена леденила ей не только спину. Больше всего боялась она, что у нее уже не хватит сил оторваться от этой стены и выскользнуть из коридора, уйти отсюда прочь. Вдруг все их слова и обрывки разговора, смысла которых она сперва никак не могла понять, сразу соединились, связались с тем, что давно уже подтачивало ее и во что она с негодованием отказалась поверить, услышав это от Настюры. Все вдруг осветилось. Все она сразу поняла, и ни единого слова больше, ничего уже не надо было ей слышать из того, о чем они говорили между собой,— это уже была не ее, а их жизнь. Вся ее прошлая жизнь с Никитиным сразу оборвалась, кончилась и теперь уже навсегда останется там, за порогом. Ей же надо только найти в себе силы, чтобы, не помешав им, выбраться отсюда.

Позже она лишь смутно помнила, как ей все-таки удалось неслышно выскользнуть из коридора, и потом она оказалась в погребе вниз лицом на лежанке, на которой, бывало, спасалась летом от нестерпимого зноя.

Очнулась от пронизавшей ее мысли о Григории. Ни на секунду у нее не возникло бы сомнения, как ей теперь поступить, что ей, и притом немедленно, не откладывая, сделать самой, если бы не он. Теперь же получалось, что одной и той же петлей его захлестнуло вместе с ней. И пока она не сумеет помочь ему освободиться от этой петли, у нее нет и не может быть никакого своего горя. Если он все еще так ничего и не знает, надо не допустить, чтобы это своей неожиданностью сбило его с ног, раздавило его. Если же знает, но все еще не сумел найти выхода, все равно безотлучно побыть рядом с ним, пока он не найдет этот выход. У молодых всегда бывают свои решения, и то, что она сама избрала для себя, не обязательно должно подойти и ему. Даже обязательно не подойдет. Своим преждевременным вмешательством можно не помочь, а только помешать ему.

Но если так, то, значит, требуется от нее теперь только одно: ждать. Все время быть настороже, пока ее помощь может понадобиться ему. И дома, в семье, делать все, что она делала до сих пор, как если бы ничего, ровным счетом ничего не изменилось у них в семье, в доме. До света вставать, готовить, кормить, провожать на работу и в детский сад, встречать, обстирывать, полоть огород и ложиться всегда

позже всех, как всегда она делала до сих пор. Все делать как прежде, чего бы это ни стоило ей. Решительно отодвинув в сторону свою собственную беду, пока все это несчастье еще висит над головой ее сына.

И, должно быть, все это не так уж плохо удавалось ей, потому что за все время Никитин лишь один-единственный раз и взглянул вдруг на нее внимательно, с тревожно загоревшимися в глазах огоньками, спросив:

— Что это, мать, у тебя по три раза надо спрашивать об одном и том же? Как у глухой.

Ничего иного не оставалось ей, как сделать вид, что и на этот раз она не услышала его. Это было то единственное, в чем она так и не смогла преодолеть себя: не могла заставить себя отвечать ему. Как будто действительно сразу стала глухой ко всему тому, что он мог ей сказать. На все то, что обычно так и взыгрывало, с такой радостной готовностью откликалось в ней на один только звук его голоса, повесила замок.

А спать она из дома перешла теперь в сад, сославшись на то, что поспел виноград и ребятишки шастают через забор за ним.

Она никому не хотела мешать.

Все ее внимание обратилось теперь на него, своего сына. И, припоминая теперь все-все, она беспощадно истязала себя за то, что, занятая собой, не поспешила к нему на помощь тогда, когда, может быть, еще не поздно было ему помочь.

Нет, он, конечно, все давно уже знал, иначе не просил бы так, не умолял: «Давай, Ириша, уедем отсюда». И если скрывался от нее, своей матери, то, видно, на что-то еще надеялся и пока что топил свои надежды в вине. А может быть, и ее жалел. Страшно было ему при мысли о том, что вместе с матерью захлестнуло его одной и той же петлей. Из боязни причинить ей боль и сам скрывал от нее свое горе. В себе переживал, а это всего труднее.

Он и в детстве всегда ее берег, хотя и не ласкался никогда, стыдился. Старался раньше нее схватиться за ведра, чтобы сбегать к Дону по воду, накосить резаком для коровы травы. Встречал корову из стада, и за лето, бывало, на всю зиму заготовит дров, наколет и аккуратно сложит за кухней,

под навесом. Никогда не требовал от матери ничего лишнего, не тянул с нее, до студенческих лет безропотно ходил в перелицованном, а когда уже уехал в техникум, всегда, отрывая от своей стипендии, присылал ей гостинцы. И теперь, получается, продолжал ее беречь, хотя это же, если разобраться, из-за нее оказался несчастным. Своими руками она ввела в их семью того, кто теперь стал поперек его молодого счастья. Поперек всей его жизни.

Но и теперь он хочет молча справиться с этим сам, скрываясь от нее и все еще на что-то надеясь, питая и заглушая вином свои надежды. Придет тот час, когда уже и вином нельзя будет залить тот пожар, который иссушает, испепеляет его душу. Ей это хорошо было известно. С тем большей тревогой предчувствовала, подстерегала она наступление этого часа.

И все же она отказалась поверить, что час этот уже наступил, когда Григорий однажды вернулся домой задолго до того, как обычно он возвращался с работы. Ей уже не раз приходилось открывать калитку ему, пьяному, но не в такое время. И пьяному не до такой степени, чтобы лицо у него стало совсем белым. Она молча посторонилась в калитке, пропуская его. Не поднимая головы, он пробрел мимо нее, и тут вдруг она увидела у него на плече двуствольное охотничье ружье. Все так и задрожало в ней, но, помогая ему на веранде снять с плеча ружье и усаживая за стол, она спросила спокойным тоном:

— А это откуда у тебя?

Не поднимая головы и качая ею из стороны в сторону, он тем не менее не захотел оставить у нее в руках ружье, а поставил его между колен:

— У нашего сторожа взял.

— Зачем?

Тут же она пожалела, что не удержалась, спросила об этом. Ей пока не следовало спрашивать — пока он был пьян. И тогда бы она, может, не услышала от него тех слов, которые он выговорил ей в лицо. Еще больше испугало ее, что взгляд у него вдруг оказался совсем ясным, трезвым, когда, подняв голову, он прямо взглянул на нее:

— Я его должен убить.

И опять уронил голову. С острой жалостью она окинула взглядом его узкие плечи, худую грудь, бледные руки с длинными узловатыми пальцами, сжимавшими ружье. Шея у него

стала совсем тонкой, могло показаться, что большая лохматая голова вот-вот оборвется, покатится по столу. Вдруг покраснев под ее взглядом так, что большие веснушки слились у него на лице в сплошное коричневое пятно, а слезинки выступили в уголках глаз, он пояснил:

— Я его, мама, из этой двустволки убью.

— Исподтишка? — спокойно, и сама удивляясь своему спокойствию, спросила она.

— А он меня по-честному ударил?! Говорят, за убийство по ревности больше восьми лет не дают. Отсижу и вернусь. Я еще молодой.

Нет, не такой он был пьяный. У пьяных не бывает такого осмысленного взгляда, и они не станут отвечать с такой беспощадной обдуманностью.

— Вот ты какой, сынок, а я и не знала.

— Ой, мама, я без нее жить не могу!..

И голова его закаталась по столу из стороны в сторону. Она и рукой не двинула, хотя ей очень хотелось зарыться пальцами в его волосы, как маленького, ладонью погладить его. То время, когда он мог успокоиться от такой ласки, безвозвратно ушло. Да и волосы у него, некогда мягкие, шелковистые, загрубев, давно уже превратились в жесткую, без единого завиточка, щетину.

— Убить, Гриша, ты его, конечно, сможешь, если исподтишка, а так он тебе сразу же переломит хребет, я его руки знаю. Но если бы ты и сумел, права у тебя на это нет. Нет, Гриша, такого права, чтобы из-за этого один человек другого жизни лишал.— Она протянула руку и потрогала ружье, зажатое у него меж колен.— У тебя там две пули?

Не поднимая головы, он ответил:

— Две.

— Значит, и для меня там есть?

Голова его так и вскинулась над столом, ужас расширил его зрачки:

— Что вы, мама?

— А то, Гриша, что если ты его убьешь, то и мне тогда не жить. Конечно, если он уйдет или,— она помедлила,— я от него уйду, мне будет тяжело, но все-таки я буду знать, что он где-то рядом живет. Не для того же я, сыночек, его под яром от смерти сберегала, чтобы он ее теперь от твоей руки принял.

И она решительно протянула руку, выворачивая у него ружье из колен. Не сопротивляясь, он покорно спросил:

— Что же мне, мама, теперь делать?

Теперь она могла позволить себе зарыться пальцами в его спутанные волосы, как давным-давно:

— То, сыночек, что ты раньше и сам хотел.

Его голова притихла под ее рукой:

— Что, мама?

Уже едва справляясь с собой, она закончила почти шепотом:

— Пока уехать куда-нибудь, а там видно будет.

Еще неделю после этого он побыл дома, возвращаясь по вечерам из ветлечебницы совсем трезвым, и потом завербовался, уехал под Кустанай, на целину. Теперь наступил и ее черед.

Вот когда она могла порадоваться, что так и не нашлось покупателя для ее дома на Красном яру.

То самое женское станичное радио, которое безотказно действовало еще и при Степане Разине, вскоре передало от порога к порогу, что к дому на яру, куда недавно вернулась его хозяйка, подъезжала перед вечером председательская «Победа» ОХ 98-68. Вышедший из машины Никитин позвякал вделанным в калитку железным кольцом. Калитка не открылась и после того как он побарабанил — сперва тихо, а потом сильнее — в угловое окно согнутым пальцем. В окне зажегся свет, угол белой занавески отвернулся и тотчас же завернулся обратно.

Никитин еще немного постоял у окна, прошелся по проулку мимо дома взад и вперед и вернулся к машине. Взрокотал мотор.

Сразу же вслед за этим из калитки в длинной белой рубашке вышла Антонина. Не обращая внимания на холодный, уже осенний ветер и на то, что с низкого неба срывались капли дождя, она долго стояла у калитки и смотрела вдоль проулка, впадающего в степь, туда, куда, ощупывая дорогу и подпрыгивая на кочках, удалялся пучок желтого света. Стояла, пока не растворился он в темноте, а может быть, и скрылся в ближайшей балке.

Только после этого вернулась в дом и тут же в ее окне погас огонь.

...При последних словах Коротковой и Егоров невольно оглянулся на уже подсиненное поздним осенним вечером окно. Уже районный поселок окутался сетью звездного света.

Там, где эта зыбкая сеть спускалась с неба зачерпнуть Дона, трепетали сквозь мглу, сквозь туман огоньки дальних хуторов и станиц. Как стаи перелетных гусей, выбирающих, где им приземлиться на ночь.

Через неделю снова собрались члены бюро. И вновь перед их взорами парил над осенним Задоньем яр, если только его не заслонял, выдвигаясь из-за книжного шкафа своим плечом, председатель бирючинского колхоза Никитин. Но вообще-то он большую часть времени просидел на своем месте спокойно, положив на колени большие руки. Прямо напротив него, у самой двери, пристроился на краешке стула тоже приглашенный на заседание бюро маленький и тщедушный директор бирючинской школы.

— Вот это уже другое дело,— бегло оглянув их, с удовлетворением заметил председатель райисполкома Федоров.— Теперь картина обещает быть более полной.

Но у райпрокурора Нефедова было, оказывается, на этот счет свое мнение:

— А как же с Кашириной? Опять без нее обсуждать? Так и не съездил к ней никто?

Все увидели, как пошевелились руки на коленях у Никитина, выступавшие из-за шкафа, но он не убрал их с колен.

— Нет, это не совсем так,— сказал Егоров. И когда он, покашливая, продолжал отвечать райпрокурору, всем почудилось в его голосе какое-то смущение.— В том-то и дело, Андрей Иванович, что ездили.

— А... Я этого не знал. Конечно, еще лучше, если бы она теперь здесь сама была. Кто же, Алексей Владимирович, к ней ездил? Сухарев?

— Нет, Андрей Иванович, я.

Так и ахнул Неверов:

— Вот это да! Это вам, Алексей Владимирович, медаль «За отвагу» надо выдать.

— Да, я сам решил к ней съездить,— уже тверже повторил Егоров.— Правда, на ночлег к ней я не просился, как здесь советовали... Да и какой тут ночлег, если оттуда до райцентра езды меньше часа. Так бы она скорее догадалась. Правда, она и так догадалась.

По лицу Неверова расплылась улыбка живейшего удовлетворения:

— И, конечно, Алексей Владимирович, учитывая ее характер, ваша миссия закончилась...

— Признаться, я и сам так сперва подумал. Минут десять давал у ее дома сигнал и кричал у ворот: «Хозяйка!» Совсем уже собрался заворачивать назад. Но оказалось, что она в самом дальнем углу сада была, какую-то яму землей засыпала.

При этих словах Егорова все взоры одновременно повернулись к Никитину. Он сидел между шкафом и окном с лицом черным, как ночь. На давно небритых щеках золотилась щетина. Лишь чуть-чуть пошевелилось у него плечо. Но и этого было достаточно, чтобы не стало видно в окне яра.

Один только прокурор продолжал смотреть на Егорова ожидающими глазами.

Так вот какой он вблизи, этот дом на яру, который можно было увидеть из окон райкома. Действительно, большой, и забор — рукой не достать. К стыду своему, Егоров до самого последнего времени — до того, как на заседании бюро не всплыла вся эта история с Никитиным,— знал о хозяйке этого дома лишь понаслышке. Из-за глухого забора едва виднелась черепичная крыша. И никакой не было возможности докричаться хозяйки дома.

Понаслышке знал о ней Егоров, как об одном из тех в недалеком прошлом председателей колхозов, которые некогда гремели на всю область и потом по разным причинам сошли со сцены. Как говорится, выпали из номенклатуры. Отступили в тень. Живут своими домами, разводят виноград, пчел, пестуют внуков и, случается, мало-помалу спиваются. Но память о них продолжает жить, как тень, существующая сама по себе, отдельно от человека. Тень того человека, каким он был, хотя он еще и есть, не умер. И странно двойственное, грустное и несколько даже жутковатое впечатление всегда производили на Егорова эти встречи с памятью о людях, о которых при жизни уже говорят в прошлом. От которых еще при их жизни отступила в сторону и продолжала жить отдельно их тень.

Так и не докричавшись, он пошел от калитки к машине, не столько обескураженный, сколько втайне удовлетворенный таким оборотом дела. Сама собой отпадала необходимость этой встречи, к которой он, признаться, относился без восторга. Ему всегда было не по душе это должностное вторжение в ту область жизни людей, которую они обычно стремятся скрыть, спрятать от посторонних взоров.

А этот случай с Никитиным был, судя по всему, особенно неприятным. И неизвестно, как бы отнеслась к подобному вторжению в свою жизнь хозяйка этого дома. Скорее всего, плохо. Иначе не отгораживалась бы она от внешнего мира этим забором и не обзаводилась этим свирепым псом, который так и роет под забором землю, а иногда подпрыгивает над ним так, что оскаленная рыжая морда показывается между зубьями досок.

Правда, слыхал Егоров, что когда-то, когда хозяйка этого дома еще была не женой председателя, а сама председателем колхоза, была она женщиной общительной. В районе без ее выступления не обходились ни одна конференция или пленум. Но и как с женой Никитина, не то что с женами других председателей, Егорову так и не пришлось познакомиться с ней до сих пор. С самим Никитиным отношения у него были хорошие, но не такие, чтобы, приезжая в колхоз, Егоров был приглашаем им к обеду. Иногда могло показаться, что Никитин как будто даже избегает приглашать к себе гостей. Обычно после заседания правления или партсобрания, на котором присутствовал гость, он вел его не домой, а в столовую, где и демонстрировал свое гостеприимство. Можно было бы подумать, что по скупости Никитин не водит гостей к себе в дом, если бы, бывая вместе с ним в командировках в области, Егоров не убедился в обратном. Там, когда после конференции делегаты из района собирались за одним столом в ресторане и приходило время расплачиваться, председатель бирючинского колхоза всегда первый доставал свой большой желтый кошелек и никогда не соглашался, чтобы кто-нибудь вступил с ним в долю. «У нас колхозники своему председателю, слава богу, хорошо платят»,— обычно говорил он не без тщеславной гордости.

Конечно, не помешало бы Егорову встретиться перед новым бюро с хозяйкой этого дома, но, как можно было понять, сама она не очень-то была расположена к подобным встречам. А пес ее так и подскакивает над этим высоченным забором. Не по вине Егорова не могла состояться эта встреча, и, значит, придется отложить ее до лучших времен.

И, откровенно сказать, он не слишком-то обрадовался, уже поставив на подножку машины ногу, когда его заставил обернуться женский голос:

— Если вы, товарищ Егоров, ищете Каширину, то это я и есть.

В калитке стояла крупная смуглая женщина с лицом, освещенным насмешливыми серыми глазами.

В этом месте Егоров, прерывая свой рассказ, виновато взглянул на Никитина.

— Вы меня извините, Николай Яковлевич, но я не думал, что ваша... бывшая жена совсем еще не старая женщина. Я, признаться, думал...— Скулы у Егорова покраснели, и он, не закончив какой-то своей мысли, продолжал: — А она, оказывается, еще не только не старая, но и просто красивая женщина.

Все увидели, как краска, прихлынувшая при этих словах к его лицу, как будто передалась на лицо Никитина, но еще более густая. Так, что на него невозможно стало смотреть. Все невольно отвели глаза, только Антонина Ивановна Короткова презрительно покосилась на него:

— Красивая, Алексей Владимирович, это не то слово. Да разве вам, мужчинам, настоящая красота нужна...

И, выпрямляясь на стуле, она сама строго приосанилась. Корона темных, лишь слегка седеющих волос венчала ее голову, ее лицо со все еще удивительно живыми и выпукло чистыми серыми глазами.

Должно быть, правильно определив причину удивления Егорова и сторонясь в калитке, пропуская его во двор, Каширина пояснила:

— Вы меня не знаете, а я вашу машину давно приметила. И Никитин мне о вас рассказывал. Да цыц ты! — прикрикнула она на большую рыжую собаку.

И это было то единственное упоминание о Никитине, которое Егоров услышал от нее в тот день во время их встречи. Потом она уже сама ни разу не вспомнила о нем прямо. Егоров шел за ней по тропинке, по чисто выполотой и разглаженной граблями земле в глубь двора и, взглядывая на ее крупную, статную фигуру, на спокойную легкую походку, все больше внутренне удивлялся.

В глубине сада стоял покрытый голубой клеенкой стол. Под деревьями, на которых уже почти не оставалось листвы, рыжели на земле пятна осеннего солнца.

— Садитесь,— сказала она, указывая ему на табуретку и берясь за ручку кувшина, прикрытого полотенцем.— Сейчас я принесу из погреба вина. Я тоже с вами выпью.

Теперь, сидя против нее за столом, на котором стоял кувшин с вином, он мог рассмотреть ее лучше. Может быть,

больше всего поражали ее глаза. Вот уж чего меньше всего ожидал он увидеть в них, так это насмешливости. И если бы не проглядывало иногда сквозь нее что-то другое, какая-то темь, ни за что нельзя было бы поверить, что у этой женщины есть основания считать себя несчастливой.

Под ее взглядом он сразу же понял, что она догадалась об истинных причинах его посещения и поспешил ухватиться за первое подвернувшееся оправдание: он давно уже собирался побеседовать и посоветоваться с ней, как с одним из самых опытных виноградарей в районе.

— Что ж, можно и побеседовать,— спокойно согласилась она, отпивая из стакана вино мелкими глотками.— Хоть я уже и отстала, да и вы, конечно, приехали ко мне не за этим.

У Егорова стакан с вином вздрогнул в руке. Поспешив отхлебнуть из него, он поперхнулся. Вино сохраняло холодок погреба и привкус дубовой бочки.

— Ну да я и сама давно уже к вам собираюсь.

У него так и отлегло от сердца. Вот и не потребуется искать каких-то подходов, окольных путей. Это же совсем другое дело, чем когда человека насильно вызывают на откровенность, тянут за язык, и после этого всегда остается неприятный осадок. Будто бы заглянул в замочную скважину и твоя же собственная совесть застала тебя за этим нехорошим занятием.

Она поставила стакан на стол, улыбнулась:

— Только не за тем, за чем вы сейчас подумали. За этим я к вам не собиралась и ни к кому не приду. Вы, должно быть, от Антонипы Ивановны Коротковой слыхали обо мне?

— И от нее.

— И про то, как я по своей собственной дурости из партии выпала?

— Немного и об этом,— кратко ответил Егоров.

— Вы только не подумайте, что я обратно попроситься хочу. Я знаю, что так сразу это не делается, да и дело это очень давнее уже. Но и жить вот так же дальше я не хочу, нельзя мне. Вы же сами видите, как я живу. Одна.— И, снова отхлебнув из стакана, она поставила его на стол.— А того, что вы думали, чтобы я пришла жаловаться в райком или в обком на свою разнесчастную судьбу,— этого не будет. Я, товарищ Егоров, когда с ним слюбилась, ни у райкома, ни у обкома не спрашивалась, и теперь мне из-под вашего кнута его любовь не нужна. Я, слава богу, пятнадцать лет с ним счастливой была, и на том спасибо. У других женщин и этого

не было. Может, все это теперь мне в наказание за то, что слишком радовалась своему счастью, когда кругом еще столько горя. Может, так и надо мне за то, что стала я совсем незрячей и сытой своим счастьем. И чтобы он теперь вдруг из благодарности вернулся ко мне — этого тоже мне не нужно. Чтобы он жил со мной, а думал о ней?! Да что я, тюремщица, что ли?!

Чем больше смотрел на нее Егоров и чем дальше слушал ее, тем больше думал, что Никитин, отказавшись от нее, от чего-то такого отказался в своей жизни, чего уже не сможет возместить ему никто другой. Никакая другая женщина уже не сможет заполнить ему эту потерю.

Давно молчал Егоров. Молчали члены бюро. Как врезанная в раму картина — сверху в светлую голубизну неба, а снизу в темную, почти зеленую синеву Дона и Донца — обозначался в окне Красный яр.

— И такую женщину на какую-то побрякушку променять,— нарушил молчание Федоров.— Я бы на его месте ей всю жизнь ноги мыл.

Никитин сидел на своем месте, едва виднеясь из-за шкафа, наклонив мелкокурчавую медную голову.

Егоров строго заметил Федорову:

— Тебе бы, Виктор Иванович, со своими формулировками надо подождать.

На мгновение Федоров смутился под его укоризненным взглядом, но тут же нашелся:

— Мы еще не знаем, что обо всем этом думает директор школы, товарищ Пашков. А он здесь не совсем постороннее лицо. И на бюро мы его сегодня пригласили не для того, чтобы с ним тут в молчанку играть. Как, по его мнению, все это выглядит с точки зрения этики и морали советского педагога?

— Да-да, Максим Максимович, мы бы попросили вас,— сказал и Егоров.

Маленький, с большими залысинами, директор бирючинской школы Пашков, все время молча сидевший у самой двери, встал, выпрямился. Уже давно минуло то время, когда и он, подобно другим фронтовикам, донашивал свою военную форму, но и свой гражданский учительский пиджак он продолжал носить так, как будто на нем все еще был надет его офицерский китель. И теперь, по привычке выпрямляясь, он незаметно одернул руками пиджак.

— Что вы, Виктор Иванович, конкретно имеете в виду? — спросил он у Федорова.

Федоров рассердился:

— Конкретно я имел в виду крайне низкий уровень идейно-воспитательной работы во вверенном вам педагогическом коллективе.

Директор чуточку побледнел, еще больше выпячивая под пиджаком грудь.

— Я бы все-таки попросил вас, Виктор Иванович, пояснить. Если вы интересуетесь моим мнением об Ирине Алексеевне, как о педагоге, то лично у меня к ней претензий...

Негодующе перебивший его голос Федорова сорвался на крик:

— Гнать надо таких педагогов, пока вам, товарищ Пашков, еще не повесили на школу красный фонарь. А заодно гнать и некоторых сердобольных директоров школ, которые...

Он осекся, увидев, как при этом вдруг встал со своего места и, пагнув голову на тугой шее, шагнул из своего угла на середину кабинета Никитин. Только что малиново-красный, он стал алебастрово-белым.

Егоров поспешил вмешаться:

— Вам бы, Виктор Иванович, следовало от своих оценок воздержаться. Вы все-таки на заседании бюро райкома, а не у себя дома.

Никитин еще немного постоял и опустился на стул — на свое место за шкафом. И тут вдруг все неожиданно услышали, что у тщедушного директора бирючинской школы бас еще более густой, чем у того же Федорова. Услышав этот бас, все поняли, что недаром директор школы Пашков носит свой учительский пиджак так, как если бы он все еще продолжал носить офицерский китель.

— А вы на меня, товарищ председатель райисполкома, не кричите, вы только и знаете на учителей кричать. У вас директор школы может целый день в приемной прождать, и потом вы забудете ему стул предложить.

Услышав командирский бас директора школы, Федоров как-то сник и смог только буркнуть:

— Это к данному делу не относится...

Но командирский бас, казалось, и сдерживался в тщедушной груди у директора школы все эти годы для того, чтобы, загремев, показать всю свою силу:

— От вашего крика у всех в районе уже в ушах звенит. Вам бы, товарищ Федоров, пора уже от этих своих замашек отказаться. К вам уже люди перестали ходить.

Багровый Федоров в непритворном изумлении повернулся к Егорову:

— Алексей Владимирович, мы кого здесь сегодня обсуждаем, Никитина или председателя райисполкома?

Егоров успокоил его жестом:

— Не стоит, Виктор Иванович, горячиться. И вас, товарищ Пашков, я попрошу не так громко.

— Виноват, Алексей Владимирович, накопилось.— И все опять услышали, что у директора школы совсем не бас, а, пожалуй, даже тонкий, тихий голос. Но на скулах у него, на чисто выбритых щеках еще долго пылал брызжуще-яркий румянец.— Но если товарищ Федоров хочет услышать здесь от меня, что Ирина Алексеевна плохой педагог, он все равно этого не услышит. Она педагог хороший, Виктор Иванович, хо-ро-ший, — раздельно, по слогам повторил он, как если бы диктовал это слово ученикам на уроке. — У нее лучший класс.

В углу, где сидел Никитин, простонал стул.

— Это еще не все,— не сдаваясь, глухо проворчал Федоров.— Надо же до такого дойти, чтобы в том самом доме, где ее приласкали, так воду замутить. С такими людьми, товарищ Пашков, ваша школа далеко не уйдет.

Но тут за директора бирючинской школы решительно заступилась Короткова. Взмахом руки она отбросила со лба литые пряди:

— А как же, по-вашему, Виктор Иванович, он должен был с нею поступить? Так недолго и до полного ханжества дойти.

— Если тебя, Антонина Ивановна, послушать, то и Никитин герой,— вкрадчиво улыбаясь, вставил Неверов.

Короткова повела подбородком в его сторону:

— Никитина я не оправдываю, но и судить его не берусь. Пусть сам себя судит. А за Каширину нам беспокоиться нечего. Одного человека такое убивает, а другого...— у Антонины Ивановны Коротковой всего лишь на секунду неуловимо изменился голос,— может и возвысить. Простить только себе не могу, что не довела я тогда ее дело до конца. В обком и писала и ездила сама, добивалась пересмотра, а когда отказали, не довела до ЦК, бросила. Видно, побоялась. Да что там теперь говорить...

И с этими словами Антонина Ивановна Короткова села на свое место, больше уже до самого конца бюро не проронив ни слова. Лишь по ее уже немолодому, но и теперь еще красивому, властному лицу иногда как будто пробегали

тени каких-то воспоминаний. Она хмурила большие брови и, мотнув головой, отбрасывала падавшие ей на лоб пряди. При этом лицо ее приобретало суровое, почти грозное выражение.

— На этом, пожалуй, можно и кончить,— по привычке положив смуглую руку на стекло стола, сказал Егоров.

— А как же решение? — с удивлением спросил Нефедов.

— Какое решение? Я с Антониной Ивановной согласен: за Никитина никто не может решить. А каждый из нас, по-моему, тоже для себя должен сделать вывод, что одиноких людей у нас не должно быть. И к неверовщине возврата больше нет.

— При чем здесь я,— возмущенно бросил с дивана Неверов, — если такая была обстановка?!

— Это я, Павел Иванович, не персонально, а фигурально. Вы не согласны?

Под взглядом Егорова тот задвигался, заскрипел пружинами дивана.

— Нет, почему же. Если так же думают и все другие члены бюро, то и я не против.

Егоров обвел всех взглядом:

— Может быть, все-таки кто-нибудь против? — Ответа не последовало.— Заседание бюро считаю закрытым.

— Все-таки как-то странно,— вставая со своего места, заметил Нефедов.

Поздний осенний вечер успел уже перейти за это время в ночь, и на слиянии Дона с Северским Донцом засветилась далекая золотистая точка.

30 коп.

• СОВЕТСКАЯ РОССИЯ •